

18+ Татьяна Чурус

БАУШКИНЫ СКАЗКИ

СБОРНИК РАССКАЗОВ



Татьяна Чурус
Баушкины сказки.
Сборник рассказов

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24153438
ISBN 9785448520099

Аннотация

В книгу вошли незамысловатые истории о житье-бытье, рассказанные автору бабушкой. Рассказы будут интересна всем, кто любит родную русскую речь, приправленную острым словцом. Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

Робятёнок диковинной	22
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Баушкины сказки

Сборник рассказов

Татьяна Чурус

© Татьяна Чурус, 2017

ISBN 978-5-4485-2009-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

БАУШКА МНЕ СКАЗЫВАЛА...

Баушка мне сказывала...

Я девчонкой-то, мил человек, ох и неумная была, ох неумная: вот, скажем, ночь на дворе, почивать пора – я ни в какую: ору благим матом во всю ивановскую! Мать и так и эдак – толку чуть: не иду спать и все тут. Что делать с бесстыдницей? Уж так наμαστεя со мной покойница (ныне-т упокоилась ль, матушка?..), что, бывало, руки опустит: сядет, ноги так расставит, голову свою повесит... Сердце и сейчас кровью обливается, когда упомяну то, да не вернешь мать, не вернешь родимую с того света... Вот, стало, руки-то и опустит: у всех, мол, дети как дети, а эта... Скажи хошь ты ей – это она отцу, а тому завей горе веревочкой:

да пошли вы к едрене матери, ни вздохнуть, ни пернуть. Пустое – мать толь и махнет рукой...

А баушка уж который сон доглядает в те поры: и то, рано укладывалась покойница, свято обычай свой блюла. Бывало, чуть затемно – она сейчас зевает во всю горла ширь, зубом своим единым посверкивает, потому уклад деревенский почитала. Правда, и вставала до свету. Вот встанет – сейчас кашу манную затеет (уж больно любила я кашу-то манную!), а то и блинчики когда, оладушки, а то еще лепешки знатные пекла баушка: и по си дни слюна течет! Я-то посыпываю себе, один свист стоит, а у нее уж поспело все: само в рот и просится. Вот истинный крест: я девчонкою блинчиков по десять за присест уминала, и не морщилась. Сяду, бывало, за стол, покрытый белой простенькою скатеркою, что матушка вышила крестом, а баушка сейчас тарелочку предо мною ставит (помню, совсем махонькая любила я дохлебать до доньшкы супец, чтобы увидеть на том на доньшке цветочек или какую ягодку, а то и зверушку какую – много у нас было всяких расписных славных тарелочек!) – вот ставит, а в ту тарелочку кусочек маслица кладет: кусочек с коровий носочек – так она говаривала, потому кусочек-то добрый был. Вот, стало быть, маслице на тарелочку, а сама ножичком эдак подденет блинок да с пылу с жару на то маслице и посодит – оно толь и расплывается, довольное. Я одно знаю себе, как блинок тот с боку на бок переворачивать да в роток отправлять, в маслице обваланный, чтоб по устам

текло. Вот понаемся так, что глаз разомкнуть не разомкну, потому сон богатырский сейчас и сморит сладостный, точно и ночь не ночевала. А баушка: наелась, мол, как бык, – не знаю, как быть.

Вот к баушке-то мать и кинется, потревожит сон ее: угмони, мол, баушка (у нас все ее прозывали баушкой), волхвитку эту, нету, мол, моей моченьки, всю душу мою она вымотала. Вот и сейчас, как упомню то, волос дыбом встает, да не вернешь родимую... А волхвитке – это мне-то, кому же еще! – того и надобно: уж больно любила я сказки баушкины (и не знаю, что боле любила-то: сказки или блинчики с лепешками!) – толь тем и можно было унять меня. Ну, баушка, оно конечно, спросонья-то уж больно кобенится, сердитая: мол, сами разбузыкаете девчонку, а потом баушку кличете. Да мастерица сказывать, потому чуток покуражится, а потом махнет этак рукой: ладно, мол, но то в последний раз! А я уж замерла вся – мать толь тихохонько так и окрестится.

А уж те сказки баушкины на зубок я выучила: одно да потому твердила сердечная. И про курочек про уточек помню, вот как сейчас: мол, сказывала, жили-были две сестры – мать твоя (это моя-то матушка) и сестра ейная (это тетушка Шура) – и достались им две курочки. Матерна курочка вся собою черная, толстобокая да хромяя: на одну ногу припадала, что каракатица, потому под колесо нелегкая ее понесла – вот и припечтало. Уж так мать жалела свою курочку, так над нею квохтала, что сама была какою клушею. А у Шурочки

желтая курочка: так ее и звали все – Шурочка, мол, желтая курочка. Там такая махонькая, там чистотка! Вот сказывает баушка, а толь я слезами изойду, потому люблю черную курочку пуще всего, потому погибла она раньше желтой соседки: в суп пошла, ни *за* что ни *про* что сгинула... Там что убивалась мать...

А то еще сказывала баушка про то, как дедушка Алеша – то он ей дедушка, а мне и невесть уж кто, потому сколь годов-то с той поры минуло! – так тот дедушка больно бородушку имел красивую, шелковую: гребешком ее расчесывал, что девка косу. А тут несчастье: нога стала гнить у дедушки, колено самое, что ствол у худого дерева, когда оно уж неплодное: вся струпьем изошла, нога-т, как говаривала баушка, – а мы, мол: и взрослые, и дети малые, – вонищей той дышим, а не пикнем, потому почитали дедушку, а он уж и не двинется. А я слезами пуще прежнего обливаюсь, потому и дедушку жальче жалкого, и малых детушек, и баушку махонькую... А маму мою, сказывала, он на той на ноге, когда была целая, что на качельке, покачивал: до того матушка была крохотная.

Знатно баушка сказывала, все как есть перед глазами стоит: и Катюша Воронова, деревенская дурочка, и дядь Коля Гужов, что был конюхом, – все, как сейчас, упомяну, потому дух захватывает! А на что оно мне: не видала и не слышала тех людей, царство им небесное! А как живые стоят, потому слову сила большущая дадена. А тут что-то разбу-

зыкалась я: мол, все на сто рядов переговорено – сказывай, мол, новое, а не то не усну. А баушка: да какого тебе рожна, кричит, надобно, хивря ты? А такого, кричу, что тетке Фекле сказывала. А тетка Фекла то была сестра баушкина муженька покойного, которого война скосила (то сами слова баушкины). Приходила она по обыкновению раным-рано. Как сейчас ее вижу: черный платок, платье серое, а поверх платья фартук повязан, и глаза, помню, такие черные, что вот как уголья горящие прожигают наповал (хотя и уголья-то я отродясь не видела!). Вот придет тетка Фекла – стало, какой церковный праздник на календаре (но про те праздники строго-настрого наказывали не трепать чего лишнего: времечко-то было лютое!). Придет, а я посыпохиваю, знай себе, завей горе веревочкой. Проснусь – а они куличик мне припасли, а и того пуще: яйца красные, луковой шелухой крашенные! А сами полеживают на большущей баушкиной кровати – разговелись уж! – и вполсилы перешептываются. Я куличик-то завидела – сейчас обрадуюсь! А уж яйца что красные, шелухой луковой пропахшие! Мне и неведомо, про что там баушка с теткой Феклою щебечут еле слышными голосками старческими – у меня одна забота: кулич умять с яйцами.

А тут пробудилась я раз что-то раньше прежнего, а сама слышу: тетка Фекла уж пришла. А на Пасху дело было, потому говорит тетка: в церкви, мол, была, куличик святила, да встренула, не догадаешь, мол, кого. Ну, баушка, известное

дело, присвистнула: да кого ж, мол, Фекла Матвевна? Она ее, почитай, всю жизнь величала Феклою Матвевной, потому, сказывала, то одна-единственная ниточка в роду человеческом, что связывала ее, баушку, с Васей-покойником: а уж что любила она его, уж так любила! Вот и спрашивает баушка: да кого, мол, встренула, не томи, мол, сказывай. В эту-то пору пасхальну все, мол, чудное деется. А тетка: да, говорит, Нюрку Рядову с Ляксандром. Стоят, говорит, пред иконкою, а сами вот каким светом все светятся. Баушка и вздохнула: родимые матушки, вот, говорит, отродясь ни одной душе не завидовала – Бог миловал, – а Нюрке завидую. Да сейчас и креститься пошла: прости, мол, мене, Господи, рабу Твою грешную. И то, согласилась с нею тетка Фекла, прослезилась сердечная. И ни слова ни полслова более...

Вот про эту-то Нюрку я и заладила: сказывай, мол, а не то не засну. А мне в ту пору уж парнишка один глянулся, Митька такой: там весь маленький, беленький, ну вот что птенчик какой! Это ж сколь годков-то прошло? Сейчас небось, поди ж ты, Митрий Степанович... А и после любила, и не раз, да толь сердце-то так не замирало в груди, как тогда, в младости... Бывало, завидим друг дружку, что шальные сделаемся! Мать тоже вот, бывало, все меня на смех брала: иду, мол – это она отцу, – а наша-то верста коломенская (а и то: велика я девчонкой-то была, вот что молодка взрослая!) куры строит этому пупырышку! А отцу – слава Тебе, Господи, все едино: пупырышек или распупырышек: шары зальет – царство

небесное покойничку – да и посыпохивает. Вот так она чехвостит нас с Митькою – а я ну хохотать, потому со стыда горю: мол, да дурень он, сто лет, мол, он и нужен мне. А сама пунцовенная сделаюсь, что яблоко переспелое.

Вот в раж-то я и вошла: сказывай, мол, про Нюрку с Ляксандром и все! А баушка: ну что орешь, мол, ровно сивый мерин? Понажрется, говорит, на ночь – и глотку дерет, силищи девать некуда. И то правда, грешила я девчонкой-то, чревоугодничала: на сон грядущий любила брюхо набить. А баушка ни-ни: как солнце почивать покатится, она в рот росинки не берет, потому справно закон блюла. Вот ору я, что есть моченьки, а баушка: матери в шесть часов вставать, а она, халда, разбузыкалась. А я нешто не знаю, что вставать? Потому и ору, словно оглашенная. Баушка – а куда кинешься? – и зачала сказывать: пес с тобой, мол, скажу, но то в последний раз, вот те крест истинный. А я уж и замерла: ловлю каждое словцо, ровно золотое оно.

Вот баушка так и сказывает: давно то было, сказывает, так давно, что будто и отродясь не было. Так вот в ту самую пору – аль еще того раньше – понародилось в нашем селе парней, что ровно яблок на доброй яблоне: и всё-то сочные, всё-то крупные, того и гляди полопаются. А промеж них народился самый Ляксандр золотым наливным яблочком, сказывает баушка, а мне невтерпеж: мол, не тот ли, что в церкви с Нюркой тетке Фекле встренулся? А баушка осерчала: вперед батьки в пекло сказки не лезь, мол, прикуси язычино,

мол, а не то зачинай сама, не буду, мол, и вовсе сказывать, пушай, мол, тебе ведро худое сказывает. А то ведро худое мы в сенцах ставили, потому, коли ночью приспичило, так справиться нужду малую: не все ж ходить до ветру-т. Вот и онемеешь, потому какой с того ведра спрос: пустое ботало – а страсть как не терпится выведать у баушки про Ляксандра про золотое наливное яблочко.

Вот понародился, примется сызнова баушка за свой нехитрый сказ – а я уж довольнешенька! – да такой славный что: мать не налюбуется Ляксандрова: весь так светом каким и светится! А хозяйство большущее, ртов полна изба, потому сегодня он понародился – а к завтраму уж надобно выходить работать наравне с мужичинами. Вот потому к Ляксандру махонькому – а он вот что цыпленочек! – приставила бабицу застарелую: какая уж там работница, век свой выжила – пушай на старость лет позабавится, люльку с младенчиком покачивает. Сама-то, мать, бывало, прибежит чуть жива, титьку сунула сосунку – и обратно в поле, потому сенокос. Вот, стало, нянька-то старая за ребятенком и приглядывает, а сама и усни на один глазок – тот, мальчишка-то, из люльки выскочил и убился: на земь бряк! И ни одна б душа про то не проведала, потому скрыла преступница ты старая, да пришла пора: встал на ноженьки, когда уж все сроки минули, а ноженьку-то и приволакивает. Повинилась бабица, в пол челом кинулась: мол, моя вина, меня и судите, люди добрые, – а толь не вернешь времечко-т: так

и фершел сказывал. Мол, так и будет ноженьку приволакивать, а мог бы летать соколом! Уж там что убивалась мать Ляксандрова, что слезьми обливалась сердечная, что свечечек в церкви ставила – все одно: как приволакивал, так и приволакивает, толь того еще пуще. А до чего хорош, пригож, румян до чего, покуда сидит, а как встанет – сердце кровью обливается: одно слово – мученик.

Вот, сказывает баушка, времечко катится: уж девки с парнями любятя, а Ляксандр один как сыч, потому которая на колченогого позарится, коли вокруг прорва парней: яблочку негде упасть. Кручинится мать: мол, видать, сынок, век тебе одному вековать, а нам с отцом твоим не дедовать. Прости ты, мол, мою душу грешную: не доглядела, мол, невесть кого к тебе приставила. А тот, душа добрая, светлая, толь улыбается пуще прежнего на радость матери, потому там такой сын: ищи по свету – не сыщешь с огнем.

А тут село соседнее полегло: там полыхало так, что вот одни головешки да чурки остались – люди и подались кто куда. И у нас стояли погорелые, а промеж ними и была, сказывает баушка, Нюрка с отцом ейным дядь Егорием. Так мы, слышь ты, сразу стали величать его горем луковым, потому пришло в дом к ему горюшко горелое. А я уж ровно в рот воды набрала: сижу как мышь, надувшись на крупу, потому страсть прознать хочется, как у Нюрки с Ляксандром все сладилось.

И так подошло, сказывает меж тем баушка, что ночь ночевать их спровадили, самых Рядовых, к родне Ляксандровой:

положили их на лавку, накормили досыта – все чин-чином, все как у людей. А толь ночью Нюрка – то она сама после сказывала – и видит во сне Ляксандра, вот будто он в красенькой рубашечке. А то дело известное: так суженый приходит к девке на выданье. А и какая она девка, баушка сказывает. Невесть что, потому годами старая, а не мужняя, при отце, что хвост при псе. А до чего красивая: волос вьющий, густой, глаза раскосые, сама полная, белая, статная! Тут не стерпела я: а почему, мол, невесть что? А баушка вошла в раж: да как почему, антихрист ты? У нонешних-то людей каков закон был: коли к двадцати пяти годкам девка не плодная, а того более не мужняя жена, стало, порчъ на ей лежит, почитай, сглазили. А ей, Нюрке-то, в ту пору уж годков тридцать, как есть, минуло, а то и более. Правда, согрешу, коль скажу, что застарелась она: не брало ее времечко – так Господь ссудил. И по всему видать, не дева старая. Не успела и вымолвить баушка – я сейчас тут как тут, пострел такая, потому не вытерпела: а кто, мол, такая дева старая? А баушка: ну надо же, а? Куда, мол, конь с копытом, туда и лягуша с лапой, много будешь знать – скоро состаришься. И сейчас зевнула сердечная и окрестила роток по обыкновению. Я и не мигнула – она уж посыпохивает. Куда кинешься – и я в дремь вошла: заки-марила. И той же ноченькой снится мне Ляксандр не Ляксандр, Митька не Митька – а толь в красенькой рубашечке. И с той ноченьки, мил человек, про что другое уж и думать не могла, как про Ляксандра с Нюркою.

Вот вторая ночь по небу катится – я что паинька: баушка еще толь позевывает, а я уж почивать готова под ейны сказки незамысловатые. Вот легла – а мать и не нарадуется: и чем, мол, баушка дитя неразумное потчует, что оно – это я—то! – точно шелковое? А тем, родимая матушка, что и знать-то мне не положено, но до чего сладостно катится тот сказ, ну вот что золотое яблочко по блюдечку...

А баушка потягивается, позевывает пуще прежнего, потому охота ей, по всему, покуражиться чуток, потянуть за хвост времечко. Я молчок, замерла ровно истукан каменный: и то, боюсь спугнуть сказительницу... Покуражилась-покуражилась баушка, назевалась всласть, окрестила роток да и спрашивает: нешто сказывать, мол? А я: да как, мол, не сказывать? Вот сказывает: на чем, бишь, я застыла-то? А на том, что не дева старая... тьфу ты, прости Господи, эку невидаль несу, грешница, ровно нечистый за язычино тянул! И пошла сейчас молитву творить, а которую, и не упомню, милоч, потому иное на уме стоит. Вытворила что там ей надобно – да и сказывает: увидала, стало, Нюрка Ляксандра во сне в красенькой рубашечке, а он-то сам, Ляксандр-то, Нюрку увидал простоволосую – то он после уж повинился матери. Вот увидал... А коли девке расплели косу – сейчас хошь под венец, потому засылай сватов. Куда кинешься: видать, сама судьба свела соколиков. Да это толь скоро сказка сказывается, потому на языке-т она сидит легче лёгкого – а дело-т не скоро деется: тут уж сто узлов завяжется...

Вот переночевали ноченьку погорельцы-т самые: Нюрка да отец ейный Егор... забыла по батюшке. А и помнила бы – все одно не величала бы: тьфу на него, Бога он не знал – не стану и сказывать. И махнула рукой баушка. А утром хозяйка – дело известное – собрала на стол хлебушко, да картофь, да сальцо с яйцами – потому своих ртов полна изба: всех кормить – без портов ходить. Те, погорелые-т, едят да нахваливают, за обе щёки закладывают: потому им что ни дай сейчас – все умнут, не поперхнутся. Понаелись, поклонились в ноги хозяевам да и пошли себе, а толь хозяин сам, Ляксандров отец, на Нюрку глядит, рожа ты бесстыжая, да и сказывает: а оставайтесь, мол, работать что поможете, где, мол, семеро ртов, там и девять прокормятся. А те и радешеньки, потому ни кола ни двора: один ремешок и есть что подпоясаться. Видит хозяйка: замыслил сам что недоброе: эвон глаз масляный! – да перечить пужается: уж больно крут! И невзлюбила она Нюрку с той самой поры: ни во что ее ставила.

Вот живут: Нюрка – первая работница: дело в руках так и спорится. А подошло, что с Ляксандром они бок о бок день деньской, да все друг на дружку поглядывают, да все краснеются, все стыдаются. Любовь-то промеж ними сейчас и пригрелась. А хозяину то неведомо: зажал Нюрку в сенцах – и давай паскудить, песий ты сын!

Вот сказывает баушка – да и осеклась сердечная, прикрыла рот ладошкой: прости, мол, мою душу грешную, Отец,

в раж вошла, язычино, мол, развесила – и творит молитву сызнова, пуще прежнего большущую. Вытворила да на бок поворотилась, окрестила грешный свой роток и, не сказавшись, сейчас уж и посыпохивает. Я не солоно хлебавши в дремь вошла – а куда кинешься? Да ночью-то и привиделась мне любовь вот что комочек махонький, что промеж Нюркой с Ляксандром пригрелась каким кутеночком.

Ты видал когда любовь-то самую, мил человек? То-то и оно... Я ить как раньше-т думала: любовь, она барыня-боярыня большущая, толстобокая, что берет людей силищей богатырскою. А вышло-т иное: беззащитный комочек махонький, который ищет пристанища у добрых людей, промеж коими и тепло, и сладостно – потому люди те в миру, в согласии. И не приведи Господь спугнуть ее аль чем огорчить... Многое, ох и многое мне чрез сказ тот баушкин открылось: мне-то, головушке пустехонькой...

А толь была и третья ночь, и баушка сказывала... Про отца Ляксандрова и не молвила боле, даже имени не дала – поминай как звали, – потому Бога он не знал: неча об таком и повести вести. Сказывала лишь, разлучили их, Нюрку то есть с Ляксандром, ироды, а какие-такие ироды, пошто разлучили – ни слова ни полслова: как хошь, так и разумей. А что я тогда, дите малое, разуметь-то могла? То-то и оно, милок, потому и прикусила язычино, а ушки на макушке. Одно толь и выведала у баушки: а как же, мол, любовь-то? Любовь-то, что промеж ними пригрелась, соколиками, куда

кинулась? А баушка прослезилась, отерла глаза краешком платка: а любовь, мол, разрослась уж такая большущая, что вот как далёко ни разбросала судьбина Ляксандра с Нюркою, ровно пахарь семена, она всё одно промеж ними еще пуще пышным цветом цветет. Видала ль ты, испрошает меня баушка, сад вот хошь яблосный, когда он в плоть вошел? Вот такой и любовь ихная была: сильная да нежная.

Как сказала то баушка, сейчас слезы у меня на глазах и выступили. Ну будет, мол, волхвитка эдакая... толь принялась браниться по обыкновению баушка, да не ворочается, видать, язык: колом встал, потому видит старушка-сказительница, плачу-т я всамделишно, да вот что по-бабьему, не по-девичьи... Зарядили мы в голос с ней точно две плакальщицы, запричитали причтом чудным: я, веришь ли, мил человек, и знать допрежь не ведала, как это причитывают – а тут веду что по писаному! Экие премудрости... Баушка и та окрестилась, на меня скрозь темь воззрилась глазом своим буравчиком, что вот в самую душу пройдет. Мать-покойница: да вы что разбузыкались, кричит, ночь на дворе, мне завтра в шесть часов вставать! Да баушка цыкнула: а ну цыц, я говорю! Надобно – вот и ступай себе – а у нас, мол, дело сурьёзное! А я лежу: замерла от счастья, что вот ровно причастилась, девчоночка!

Мать – почивать, а баушка и сказывает тихохонько, потому кутает в платок свой старческий голосок. Вот, сказывает, долго ли коротко, а такое подошло, что и пером не описать. Я

уж – это баушка-т – любила в ту пору с Васей-покойником и дите от него понесла уж которое: зачреватела. Да и иные наши выюноши любили с девками: спелым яблоком под подолы закатывались. А и славное стояло времечко, и не тронется: ровно кто заснял его на карточку. Толь Нюрка и маялись с Ляксандром, да разве ж мы, довольнешеньки, про то думали? Э-эх, завей горе веревочкой! Вздохнула баушка... А такое времечко, то люди-то старые сказывали, бывает перед лишеньком. Вот оно и подошло: войной прикатилось проклятущею. И всех молодцев, как одного, пожрала-подчистила: знатно полакомилась золотыми-то наливными яблочками – и не поперхнулась. От всего села старики остались старые да дети малые... Вася-то мой, покойничек, сказывала баушка, сгинул, в земь голову сложил: мать твою так и не увидал, не назвал по имени. Всех пожрала, утроба ты ненасытная... а там такие молодцы: надкусишь – они соком и обдадут сладостным... одни косточки ноне и остались... А толь всех да не всех: Ляксандра-то и выплюнула, потому не забрили колченогого! Уж там мать его и не ведала, как и благодарить ту няньку старую, в ту пору уж покойную, что проглядела ребенка-то! Уж она и целовала, и миловала ту ноженку, которую родный ты мой сынок (то она причитывала!) приволакивал, уж там столь свечей поставила – едва церкву не спалила, пустоголовая. А Ляксандр – дело известное, – как прослышал про войну проклятущую, сейчас явился да в ноги матери и кинулся: люблю, мол, Нюрку пуще жиз-

ни самой! А мать ему: да на что она тебе теперь, перезрелая, когда вокруг столь невест краше красного! А тот в крик: не обжените, мол, пойду на войну да и обвенчаюсь со смертушкой! Куда кинешься? Смирилась мать, давай Нюрке поклонься бить – та и засветилась от счастья: и мне, молвила, без Ляксандра белый свет не мил! Его единого видят очи мои, желанного! Вот уж когда девки с бабами локти-т себе кусать пошли! И я, грешница, рассказывает баушка, чужому счастью позавидовала! А куда кинешься: все в голос воют по мужьям да суженым – одна Нюрка плывет что павою: там довольнешенька, там что разругалась! Вот ить верно люди-то старые рассказывают: кому, рассказывают, война, а кому и мать родна!

И обженили их, и повенчали, соколиков (да по-тихому, потому церква в ту пору уж не в чести была, страдалица, да и батюшку нашего безвинного отрядили на ту войну прямо-хонько в пасть смертушке) ... и скудно-то было угощение, и наряды-т бедны, и лица гостей что невеселы... А ихние лики светлые светились той самой любовью, которую – вот век прожила! – толь единожды и сподобил Господь узреть! Так рассказывала баушка – и лицо ее мерцало в теми ровно свечечка пасхальная...

А после, рассказывала, ушли они с тощим узелком, держась за руки, в село дальнее, потому нас берегли с нашим горяшком... Так рассказывала баушка, а слеза катилась по ее щеке старческой, и пощечину, и поцелуи знавшую... Вот толь одного не ведаю, послал ли Господь им дитя?..

Сказала, окрестилась и в дремь вошла, а я еще долго воро-
чалась с боку на бок, словно лодочка утлая, на волнах пока-
чивалась сказа того, припоминала каждое словечко, что сле-
тало с уст баушкиных. И той же ночью мальчик золотой мне
привиделся, что Ляксандр на ноженьке своей большой тихо-
хонько так покачивал, а утром стали мы блинками разгов-
ляться маслеными, я возьми да и шепни баушке на ушко:
мол, послал. Она лишь кивнула молчком...

А толь с той самой поры, мил человек, стоит тот сказ ба-
ушкин предо мной, что лист пред травой. И с той самой по-
ры удумала я сыскать свою любовь, вот что коренную, ис-
конную. Удумать-то удумала, да не скоро дело-т, сказывают,
делается. А в девках-то я была уж такая статная, такая бе-
лая – одно слово: наливное яблочко. И не один заглядывался,
не один головушку буйную сворачивал, когда я проплывала
мимо какой лебедушкой, – да все без толку. Уж и баушка,
и мать, отец и тот – все в голос говаривали: и какого рожна
тебе надобно? Перезреешь, мол, в девках – последний пес
не позарится. Так и сошли на тот свет, покойнички...

А и я уж не чаяла сыскать счастья, да и человек один вдо-
вый стал сватать меня: хороший человек, работающий, твере-
зый – а сердце не лежит все одно. Куда кинешься: хошь кри-
ком кричи! Спасибо Господу, Нюрка мне ночью и привиде-
лась: дожди, мол, суженого, я, мол, сколь ждала... Промол-
вила то – и истаяла... Отказала я вдовцу тому: пушай бобы-
лит покудова – и что ты думаешь? И трех дён не минуло,

как повстречала я своего любого! И ростком не велик, и язычином не ловок – а сейчас почуяла: мой, родной! – по свету по тому самому и почуяла! И сошлись мы с ним, и обженились, и повенчались по-тихому, и любимся... А после пришло времечко разродиться мне. И вот хошь верь, хошь не верь, мил человек, тот самый мальчишечка золотой, ко-его Ляксандр-то покачивал, мне и привиделся. А уж когда понародилось дите – Ляксандром и окрестили его... Хошь верь, хошь не верь... Но то уж иной сказ, мил человек...

Робятёнок диковиннай

Понародился у Анисьи робятёнок. Ну, понародился и понародился, делов-то. У нас как сказ'вают: мол, иде шестеро, там и семому место сыскать немудрёно. А толь не простой робятёнок-то, какой диковиннай. Все дети как дети, а эн-тот...

– «От я дура-т иде, а, – крестилась Анисья, – надоть было ему сейчас, как на свет полез, на одну ногу наступить, д» за другую потянуть!

– И-и, халда, типун тебе на помело, потому пусто! Креста на т'е несть. – Баушка Рязаниха ей. – Дитё ить Божие!

– То-то и оно, что Божие! А толь титьку так закусит, что хошь криком кричи! Потому закусит – и дёржит, глазом своим косурится. А глаз, слышь, ровно золотой кой!

Баушка, повитуха ты старая, сейчас к люльке: куды там золотой, брешет Анисья-т, пустое ботало! А толь глядит – и впрямь с самого чистого золота, и сверкает так, зна'шь, ин шары слепит.

– А я что сказ'ваю. – Анисья как тут. Та, повитуха-то, толь крестится: мол, свят, свят, свят!

«От Анисья титьку с-под рубахи выпростала, д» сует со-сец робятенку-т. Тот и закусил сосец-т, зачакал молоко-т матерно. Сам чакает, а туды ж, глазом своим косурится, что с самого чистого золота.

Рязаниха толь всплеснула рукой – и была такова: понесла по селу благую весть – потому трепалка ты старая! – мол, понародился у Анисьи робятеноч что дикованной, мол, глаз у его: свят, свят, свят! – с самого чистого золота, так и по-сверкивает!

Отец Онуфрий – не пустельга какой: там бородища, там ряса с полверсты – и тот...

– Анчутка, – grit. – Я его в купель, как человека, окунул – потому крещение принять должен кажнай, кого Отец наш Вседержитель на свет сей выпростал – а он, то ись Анисьин сын, цоп мене за перст – и дёржит, и глазом своим золотым косурится. Анчутка и есть, прости Господи, потому никого почтения к сану духовному.

– Сам ты анчутка. – Анисья ему, а он, отец-т:

– А ты помалкавай. В церкву-т совсем дорогу позабыла, песья ты дочь! Всё, гляжу, отворачиваешь! Господь-то, Он с небес кажду сошку самую мелкую узрит! От Ейного взору ишшо ни один мышь не проскакивал, Хивря ты Ивановна!

– А ты не пужай мене – пужаная, потому жана мужняя. Шустрай кой! Сам-то небось к Хведосье по ночам шастаешь, рясой своей трясешь!

– Ах ты коровье ты ботало! – И шиш Анисье кажет – а там кулачище пуда с два, кровищей так и умоешься! Анисья, знамо дело, в рожу ему плюнула – тот толь с бородищи слюну и снял. А тут ишшо Рязаниха подначивает: куды без ей!

– За перст он его цопнул! А ты перст ему в рот не ложь! –

И кажет мизинный палец отцу-т самому, и похохат'вает!

– И-и, бесстужая! Бражку-т небось ставишь, люд честной поишь! И до тебе дойдет кара-т Божия, помяни мое словцо.

– Ой, не ты ль, святой отец, давече захаживал, потому унудре у тебе жгётъ? – Ничего не сказал на то отец, окрестил бородищу – и был таков! А там бородища что три года не чёсана, а как станет трапезовать, отец-т, все крохи сберёт, ровно побируша кой! И как толь Хведосья пущает его, «от сраму-то!»

В другой раз – уж и солнце запуталось в еловых лапах, кадды ползло на покой, – стукнул к Анисье Павлуша, Прасковейи сын, эт» той Прасковейи, что за околицей живет, шерсть прядет д» людям, слышь, сбывает-продает, потому шерсть знатная, там что облак какой воздушная. (А та Прасковейя, что ноне брюхатая, про ей и сказ'вать нечего, потому муж ейный уж больно ревнив, того и гляди, прибьет: и то, Прасковейя-т та уж сколь рогов ему понаставила, сколь детей невесть от кого понесла, святые угодники!). А Павлуша-т который – пришей кобыле хвост, потому работат'ь нич'о не ведает: ученый, вишь ты, с книжками по вси дни сидит, «от стыдобушка-т иде матерна, потому девятнадцатый годок пошел соколику, а ума ровно у попадьи щедрости, так, видать, и прясть всю жизнь сынку на пропитание!»

А толь стукнул, Павлуша-то. Анисья в сенцы: кто, д» на что, д» кого рожна надоть подать? А в те поры Прохор-т, ейный муж, подался на заработок. А допрежь, как подал-

ся-то, Анисье наказ дал: мол, блюди себе, Анисьюшка (он ей всё Анисьюшкой прозывал, эт» кады ишшо женихаться стал, удумал ластиться, потому добрая девка была Анисья-то: там что Григорий Чудинов сам сватал – не пошла, братовья Микулины – и бровь не повела, дядь Коли Гужева старшой сын, эт» Митрей-то, – там что красавец! – ни в каку строку, а что Прохор сватов заслал – пошла, толь и присвистнула, потому лаской взял, Прощка-т). «От, стало, так и сказ’вал: блюди, мол, себе, Анисьюшка, робятенка храни, потому мое семя, золотое, мол. А пошто золотое – рыжий он, Прохор-т, уродился у тетки Мотри: за версту, как идет, сейчас видать, кто таков, потому светится весь. А волос выющий, густой! А как дал наказ, Прощка-т, на приступочек присел: то на дорожку дальнюю, – поцаловал робятенка а самую маковку, узалок заплечь – и почапал на все четыре стороны.

«От прошел там сколь-то верст – один Господь то и ведает – а Павлуша сейчас и стукни к Анисье-т. Та и отворила, простоволосая, потому толь в бане понапарилась: там пышет вся. Здорово, мол, живешь, соседушка, сказ’вают, что робятенок у тебе какой диковиннай. Хочу, мол, полюбопытствовать, потому имею, мол, к детям присрастие.

– Входи, коль не шутишь, чайком со мною побалууй, д» с медком, что Проша-кормилец припас, д» с брусницею. – А тот ин кадык своротил на ногу Анисьину, что с-под юбки разэдак белеется. «От сели, чаек с блюда чакают, медком д» с брусницею закус’вают. А робятенок себе посыпохивает,

потому сон на его нашел: у их, у младенцев-т, и делов толь, что спать, д» титьку матерну сосать, д» глотку драть, дурным голосом орать! «От посыпохивает, а Павлуша – не будь дурень кой! – к Анисье и приладился. И толь глазами потек в тело Анисьино белое, – робяенок раззявил рот: там что криком кричит, что ножонкими сучит! Анисья с испугу юбку подобрала.

– Эт» он, видать, титьку требует! – И сейчас чтой-то большущее белое с-под рубахи выпростала – у Павлуши инрябь в глазах! – и робятенку в рот сунула. Тот закал – а за им и Павлуша, что младенец кой, потому ретивое взяло: уж больно Анисья баба сладкая! «От высосал титьку, робяенок-т, Анисья его в люльку, а сама к Павлуше, потому в раж вошла: там молоденькай, там хорошенькай, волос черный над губой пробивается! Толь коснулась Павлуши – робяенок в крик, не иначе другую титьку требует. Выпростала – а сама раскраснелась, там что мокрущая! Д» и Павлуша сидит, что аршин заглотил: живая, белая, там пышет вся – а взять не возьмешь, «от ить нелегкая! А у самого унуре кипит-бурлит, ровно в тем самоваре, что Анисья ставила. Робяенок промеж тем выпростал титьку-т матерну, разрумянился, поуспокоился: а там полнущий, там что кровь с молоком! Анисья и поманила Павлушу пальчиком: глянь, мол, на робятенка, покуд’ва понаелся-понатешился. Павлуша к ему: ой, мол, какой младенец-т красавец – сейчас заагучит, эт» Павлуша-то (потому у самого молоко ишло на устах

не просохло – а туды ж, к молодкам мужним шастает!). А робятенок цоп его за нос – и дёржит, а силища-т богатырья: девать некуда! Павлуша шары выпучил – а тот понаелся и похохатывает: так и есть, диковиннай! Насилу и вырвался, Павлуша-то, д» в окно, потому поостыла пруть, один нос пылает что полено како.

– Ты куды, Павлуша? – хватилась Анисья-т. – Ты приходи за полночь, соколик, уж поди, уторкаем. – А тот толь рукой и махнул: мол, ступай себе. Д» и был таков, толь его и видели. Спасибо, Никитишна, эт» молодка-т, что вдовая, приветила его, с пылу с жару приняла до первого кочета.

Долго ишшо Павлуша по селу-т хаживал с распухлым носом-то, что питуша какой, д» каждому сказ’вал: мол, у Анисьи с Прохором-т Семёнычем, робятенок кой диковиннай, семя золотое, мол. А сам морду отворачивал, потому мечена, да и Прохор-то, Семеныч-то, коль даст промеж глаз, кровью и умоешься. А Никитишна, разлучница ты лукавая, толь поддакивала (добрая была б женщина, нешто трепала язычином-то!): истый крест, сама, мол, видела. А и что ты видела-т, волхвитка ты, красный носочек у любовничка д» темной ноченькой?..

А покуд’ва Павлуша-т по селу посверкивал, возвернулся Прохор с заработка. «От возвернулся и сейчас к Анисье приступает приступом: мол, блюла ль себе, Анисьюшка, берегла ль дитё? А та: да как же, Проша, Прохор Семенович, не блюсти – блюла, потому жана мужняя, не какая там шала-

вая – Богом данная (а сама на окны Никитишны погляд'вает, потому соседушки, потому небось Павлуша у ей нонече). А робяенок жив-здоров: полнеет д» белеет час от часу – и сейчас окрест окрестилася. Д» толь молвила – робяенок в крик: Анисья к ему и кинулась, мол, что так о? А тот ин заходится, потому там поповырос, что на опаре прёт! И голо-сина, слышь, зычный, что труба ерихонская. Прохор и смекни Семенович.

– Ах ты паскудь ты блядская! – Д» на Анисьюшку с кулаком. – Покуд'ва я на заработке спину гну, с полюбовником кувыркаешься? Покуд'ва я деньгу гребу, с чужнем милуешься, позабыла мужа свово? – И пошел мошной трясти, деньгой туды-сюды озоровать: на, бери, мол, всё – не подавися толь! – Анисья – не гляди, что битая, – пошла деньгу считать, на палец толь и поплевывает.

– Нешто эт» всё, что наработал-то, а Прош? – А Прохор и ухом не ведет, потому робяенок поуспокоился, ножонки-ми подрыгивает д» на тятку глазом своим золотым косурится.

– Ишь ты, семя-т нашенско! – И к ему. – На-ко «от денежку: тятка наработал эвон сколь. – Робяенок денежку цоп – и дёржит (Прошка толь и скалит зуб: мол, порода нашенска, сейчас видать!), а после в крик: там заходится – Анисья и скумекала:

– Ах ты прощельга ты! Нарработал он! А ну, сказ'вай, куды лишку схоронил? – И пошла шерстить Прошку, ровно ко-

го ягня бессловесного. Тот язычино и прикусил, «от Анисья и не выведала, что денежку-т Прохор Семеныч в кубышку честь по чести сложил, д» кубышку тую схоронил в местечко тайное. А ить и Прохор не выведал, что Анисья телесами трясла пред Павлушею. «От ить дела-т Божии...

А толь и Анисья, и Прохор, как есть, поняли: робяте-нок-то и впрямь диковиннай – послал Господь, – потому кажнай грешок *узрит* глазом своим золотым. А как поняли, сейчас такая взяла их тоска: это ж покуд'ва махонький, толь криком кричит, а как лепетать зачнет – куды от стыда-т ки-нешья?..

– Слышь, Проша, я что удумала-т: можа, его к знахарю сносить? Можа, порошок какой даст? – А сама титьку выпростала д» мимо рта сосец робятенку сует: от ить горе-т горькое! – Как чуяла, а! И что мене, дурище-т, на одну ногу ему не наступить, а за другую не потянуть было! – А Прохор ей:

– Ладно, завела одно д» потому! Знай, «он за титькой смотри. Завтрева сам пойду к знахарю, поставлю ему чекуш'чку д» приволоку сюды. Д» чтоб стол ломился от яствия! – Наказал, а сам на боковую, потому всю душу ему, Прошке-то, поповымотали. И Анисья недолго думала: пасть раззявила, покряхтела – и на полати к Прохору, потому вставать до свету, что пир какой затевать.

Сказано – сделано. Спозорань ушел Прохор Семенович – Анисья сейчас к печи. А знахарь-то сам живал-бывал у черта на рогах. Потому Анисья уж цельну пропасть понавари-

ла-понапекла, а их – Прохора ейного д» знахаря, пес шелудивый ему брат, – нет как нет. Анисья и засумлевалась: а ну как спросил Прошка у знахаря какое зелие д» отсох от ей? Сидит сама не своя, спасибо, робятеночк понаелся д» поуспокоился: посыпохивает в две ноздри, толь свист стоит. «От прошло сколь там времечка – явились все в пыли: эт» Прохор-т со знахарем. А там что пьянущие, душеньки ин горят ихные грешные, сивушные! Анисья в крик:

– Да ты что, пёсье ты отродие? Я места себе не нахожу, а он залил шары – и завей горе веревочкой! Эт» как он то-перва ворожить-то примется, с эдакой рожей-то? – А Прохор ей:

– Цыц, мол, больно много, мол, в ворожбе ведаешь! – Анисья толь и плюнула: куды кинешься!

Сели за стол, потому не пропадать добру-т. Знахарь в три горла жрет – и не поперхнетя.

«От понаелся.

– Ну, кажи робятенка-т, хозяйюшка. – А сам с пьяных глаз Анисью за бока и лапает, песий ты сын.

– Да в люльке он, посыпохивает. Куды как буживать? И тебе небось проспаться надобно. Завтрева на трезвую голову ворожить и примешься. – И косурится на знахаря недоверчиво: у того харя ин трескается, от такого мало ль что станется.

– Цыц, много ты в ворожбе ведаешь. – И к люльке, а сам, слышь, на одной ноге стоит, потому, что цапель какой, шары

залил. А робятенок и не спит – косурится на знахаря своим глазом золотым да, слышь ты, похохатывает (малец, а чует пьянчужку-то!). Тот, знахарь-т сам, и пошел пред им рукой махать: эт» он ворожить зачал – Анисья с Прохором и замолкли: потому дело сурьезное, наворожит чего – ввек не отмоешься.

«От махал он махал, что анчутка какой, покуд’ва робятенок не цопнул его за руку-т: цоп – и дёржит, а силища-т богатырья, потому девать некуда, а знахарь-т что цапель какой... Анисья с Прохором рот и раззявили... И сейчас как грохот кой в сенцах: так и есть, кара пришла небесная! Анисья шары выпучила, потому душенька-т грешная! Прохор что колтун заглотнул... В те поры дверь и отворилася – а на пороге... отец Онуфрий сам: при бородище д» при рясе – всё, как и положено сану духовному. Анисья сейчас в ноги отцу и кинулась д» челом об пол бьет:

– Прости, мол, отче, нечистый попутал. – И на знахаря кажет – тот толь и раззявил рот, потому лыка не вяжет, лапоть не плетет. А отец-то, Онуфрий-то, слышь, от Хведосьи ишёл, потому ноченьку с ей делил на перине-т пуховенной, д» с пьяных глаз и понапутал: не в тую избу завернул. Куды кинешься? Срам и есть! Д» завидел знахаря, сейчас смекнул, что к чему, – и напустил на себе церковный вид: на хромой кобыле не подъедешь. А Анисья не будь дурищею:

– Да ты садись к столу, отец, – грит, – отведай кушанья-т, не побрезговай. – А отец бражку завидел – толь бородищу-т

и поглаж'вает.

– Оно, конечно, отведасть-то отведаю, а толь грех, хозяйошка, не закусишь, не запьешь. – А сам чарку в глотку и опрокид'вает – а глотка мало что луженая, там ровно бочка бездонная. «От брюхо поскрёб: хорошо пошла – а Прощка уж наливают другую чар'чку, и третью, и четвертую...

– Как попадьица здорова-жива, отец мой? – То Анисья шкворчит.

– А чего ей сдеется? Живёхонька. – И зачерпнул всею пятерней кушанья – да в рот: жует себе.

– А поповна, Акулина Онуфриевна?

– Целёхонька. – (А поповна-т что с лица, что с заду Хведосья Хведосьей, истый крест!) – Четвертый десяток висе – ни один пес не позарился. – И грибком закус'вает горькую.

– То порч' на ей. – Эт» знахарь очухался, продрал шары, едва слышал про поповну, про Акулину про Онуфриевну, песье ты отродие. – А я ведаю, как снять тую порч'.

– А ты, нехристь, помалкавай! Стану я своими божьими ушами слушать твои речи бесовские! – И запустил пятерню в кушанья.

– А ты не слушай – я Анисье скажу с Прохором. – Отец ухо-т наострил на маковке: сидит что стукан – не колыхнет-ся. А знахарь промеж тем и сказ'вает: пушай, мол, поповна завтрава в чашу, в самую глыбь, зайдет, – эт» кады солнце-т на небе ровно прыщ выскочит, – д» одёжу с себе сымет, д» нагишом по чаще-т и походит, д» ветками-т себе по телесам

похлещет. А как станет хлестать, пушай приговаривает: чур, мол, д» расчур мене. Порчь точно рукой и сымет. – Упомнил, что ль? – Эт» знахарь отцу, а тот морду воротит: больно надобно. – Ну, дело поповское, а толь завтрева девий день, особельнай...

– Мели, помело, начерно и набело. – А сам, отец-т, слышь, на бородищу намаг'вает кажно словцо знахарево.

И что ты думаешь? Девки-т Гужевы – Устинья д» Акси-нья – сказ'вали: дядь Коля-т сам по гриб пошел, эт» ровнешенько на другой день, как отец Онуфрий со знахарем-т пи-ровал, Прохоров заработок пропивал. Ну, пошел и пошел: знамо дело, потому грибник. А с им и Митрей, эт» его старшой, что к Анисье-т сватался, он самый. «От пошли. Идут: гриб заприметят – д» в лукошко и кладут. А тут что тако: дядь Коля за грибом – а пред им чтой-то белеется: никак баба. Огляд'вается – а Митрей, нелёгкая его возьми, идей-то поотстал – баба и есть: шарами лупает. Да полнущая, кровь с молоком!

– Лешая! – Д» с перепугу чуть в штаны не наклал, дядь Коля-то. А лешая-т самая тоже спужалась: стыд прикрывает волосьями. Эт» ж видано ль, всё про всё как у наших баб: и груди большущие, что тыквы перезрелые, сейчас лопнут, и живот, что опара пышная, сейчас подойдет, и лоно, и ноги – всё как у людей! Дядь Коля стоит, толь шарами лупает. А лешая-т ветку цоп – и ну хлестать себе по ляжкам, д» ишшо по-песьи и пришепетывает: чур, мол, д» расчур мене.

Дядь Коля сейчас в чашу от греха, ин штаны не сронил. А тут Митрей как тут. Д» завидел лешую – едва не угорел со смеху: то ж Акулька, попова дочь перезрелая. Та в чашу, ровно стрела калёная.

А вечером, сказ'вают, сам отец Онуфрий к Гужевым пожал'вал: мол, люб ты, Митрей, моей Акулине, стало, обженивайся, а я, мол, уж не поскуплюсь на приданое. Митрей репу чесать, потому дело сурьезное: эт» на всю жизнь окрутят – не выкрутишься. А дядь Коля:

– А давай я обженюсь, отец, уж больно мне по нраву пришлись телеса Акулины, больно глянулись.

– Тож» мне сынок выискался. – И скалит зуб на дядь Колю отец-т, на блудливого: мало убить эд'кого. – Тобе сколь годов, шелудивый ты пес: обженюсь! Я т'е обженюсь по мысам. И в церкву носу не кажешь, гляди у мене! – А Митрей:

– А ты сколь даешь приданого? – Потому всё б отцу-т своему поперек: выкормил дядь Коля на свою плешь лба здорового!

– А тыщу! Д» ишшо в сундуках трешшит от вещи от всяч'ской.

– А и мне люба Акулина твоя.

– Добре, Митрей Миколаич, засылай сватов...

Но то было толь завтрева, про то покуд'ва и ведать не ведал отец, потому в три глотки жрал у Анисьи с Прохором: всё, что наработал Прохор-то, – всё поел псу под хвост!

«От жрёт, д» сам, слышь, нахваливает, морда ты попов-

ская: что поставишь, всё поест поедом, ровно не кормят его! Ему, отцу-т, что, завей горе веревочкой, эт» Прохору завтрева идтить чуть свет на заработок сызнава, – а он, Онуфрий-то, поповыспится, д» после перстом в паству потычет – «от и вся печаль, потому ироды царя небесного!

Анисья с Прохором уж и не ведают, как его спровадить с глаз долой (что банный лист прирос к месту тыльному), спасибо, знахарь шары залил, харя ты сивушная, д“ свалился под лавку намертво: всё одним ртом менее, нахлебники проклятые. Толку от вас чуть! „От поповырастет робятенок-то – ужо он вам задаст! И толь Анисья эвон-т что удумала – робятенок в крик, ин заходится: слава Тобе, Господи, чудны Твои дела!

– А ну, ступай отсель, святой отец, по добру по здорову, вишь, малец заходится, титьку треб’вает! Неча рясой своей трясти д» бородищею. – А отец распоясался, совсем лик потерял:

– Титьку он треб’вает! Эка невидаль! А я бражки требовую! – И по глотке эд’к прищёлкивает, леший его возьми. – Так-то ты отца принимаешь, песья ты дочь? А ну, ставь бражку, не то не сыму грехи, так и будут висеть, что гроздья виноградные.

– А ты не пужай – пуж’ная! Тоже мне, отец выискался! Ты-т почище мене грешник будешь: эвон зарос – и как толь земля дёржит – не скувыркнешься! – Сказала д» толь и плюнула. А робятенок ин заходится, эвон сучит ножонками!

Толь сосец ему в рот сунула – отец с лавки и кукукнулся, что пустой мешок. – Так тебе и надобно, рясотряс! – И похихатывает, потому робятенка-т сосец дёржит дёсными д» толь глазом своим золотым и косурится.

– Анчутка! – Толь перст и поднял, отец-т, Онуфрий-то, а сам и не подыметя, потому телеса-т ровно у кого у борова: пудов дес'ть, коли не более! – Сама ты, Анисья, анчутка, анчутка и выродила, Хавронья ты Иван'на. – А Анисья, знай, похихатывает: мели, мол, помело, покуд'ва тёмно, не светло. – У отца унудре жгётъ, а он присосался: титьку жрёт! Антихристы! Отца известъ всего хочете! – Толь вымолвил – сейчас в окна стук: кого ишшо черти несут на ночь глядя? Анисья толканула Прохора: шары-т залил, песий ты муж, поди проспись, мол, д» глянь, кого принесла нелегкая и кого рожна надобно. Прохор раззявил спросонь пасть – а на пороге Рязаниха: ни встать, ни упасть:

– А я гляжу, у их свет горит. – И на Анисью кажет с Прохором. – Дай, думаю, сверну, на огонёк-т. – А сама бутылью сверкает с сивухою. – А тут такой гость, отец ты наш родный, благослови, милостивец! – И цалует руку Онуфрию-т, толь ишшо в ноги не кинулась, волхвитка ты! – Тот не стал больно церемонничать: бутылъ у баушки цоп и дёржит, эт» чтоб не отняли, изверги! А после отворил д» с горла и чакает.

– Пей на здоровьечко, отец! – Повитуха ты старая! Анисья робятенка толь уторкала, ин глаза слипаются, потому цельный день, что мышъ какой, шустрит: ишь, свадьбу завели,

что шарманку *как*у! А тут ишло Рязаниха: нет чтоб перину мять, людям покою не дает своею сивухою. А та не унимается, хивря ты! – Что слеза чистая! – Робятенок в крик – отец ин поперхнулся:

– Врешь, ведро ты пустое, коровье ты ботало! Травишь небось люд честной энтой слезой! А ну, сказывай, кого рожна туды подмеш'ваешь, не то сама своею слезой и умоешься.

– Не пужай – пуж'ная. На кой тады сивуху-т мою жрёшь, коли попреком всю душу жгёшь? Иным боле достанется! – И бутыль из рук отцовых вырвала. Тот в крик: ровно робятенок кой, не гляди, что бородища по брюшине стелется! – Так-то отца жалуете, скареды, порождения ехиднины! Эвон у Лепшеевых надьсь стоял, не вам чета, лапотники, потому порода енеральская: там что владыку потчевали. Откушай того, батюшка, откушай энтого! Там что баньку протопили жарче жаркого, там постелю постлали пуховенну! – И криком кричит, ин надрывается, потому слезу пустил, коей пужал Рязаниху-т. Известное дело, робятенок туды ж: забасил, что поп на клиросе, потому не по дням – по часам растет, что опара прет пышная – не удёржишь удержом. У Анисьи руки-т и опустились: «от ить наказание-т иде Господнее! А Рязаниха, пес ей дери:

– И-и, потчевали его! Скормили щи вчерашние – д» взащей выперли: мене сама Лепшеиха надьсь сказ'вала.

– Как владыку! – кричал отец. – И перину взбили, что облак небесный, пуховенну: перушко с перушком! И налив'чку

сливову поставили! – Спасибо, попадья в окна стукнула.

– Ах ты ирод царя небесного! Набил брюшину, залил шары – от людей совестно! А ну, ступай домой, пропастина старая! Неча тут проповеди проповедывать, потому не на клиросе! – И тащит отца к выходу, откель толь и силы сыскались: там кость одна, д» кожей обтянута, потому все соки высосали, ироды! – Энтот шары зальет – и ходит грехи сымать, покою не дает. Та в девах сидит, что колода: не сдвинется! И навязались на больную голову, супостаты окаянные! У Хведосьи небось был под хвостом, старая шлея, а ну, сказ'вай!

– Да акстись, мат'шка, нешто Хведосья фостатая? И потом что эт» ты ходока-т сыскала курям на смех! Окромя тебе, и не ведаю иной Хведосьи-то уж почитай сорок годов! – И лапает попадью костлявую. А робятенюк, слышь ты, в крик. Знамо дело, потому Акульке-то отцовой четвертый десяток и есть – а она что с лику, что с тылу Хведосья Хведосьею, истый крест! – Да ты-то ишшо, анчутка, помалкавай! – А сам, эт» отец-то, Онуфрий-то, на жану, на попадьюцу-т, эд'ким агнцем погляд'вает: рука-т у ей уж больно тяжелая, потому кость на кости! А попадьяца толь хотела огреть отца-т по мысалам-то, д» чтой-то призадумалась:

– Слышь, Анисья, что ль? А и вправду сказ'вали, робятенюк-т у т'я диковиннай? – И к люльке – а он, робятенюк-то, косурится на ей глазом своим золотым: понаелся – и похотывает. – Ишь ты, а что хорош-то, пригож! Чистый анге-

лок! – А Прохор продрал шары спросонь:

– А я что говорю! Потому порода-т нашенска, золот а! – И грудь колесом выпятил, что кочет кой! Д» и Анисья эд'к, зна'шь, подбоченилась, потому сердце-т матерно встрепенулось что птахою. А тут ишшо Рязаниха, повитуха ты старая.

– То-то ты, подлая, на тот свет спровадить его удумала! Истый крест, мат'шка, самолично слышала, как она грозила-ся на одну ноженьку наступить ему, а за другую потянуть, присягну, коли надобно! – Анисья толь и махнула рукой: мели, помело, покуд'ва рот набок не свело.

– А мене «от Господь не послал младенчика, грешнице! – И всплакнула попадья старая, ровно и не слыхала ехидну Рязаниху. Так, сказ'вали, у робятенка-т посля энтих слов сверкнула слеза, что ровно золотая звёздочка, д» одна лишь и одинёшенька... И тут же потухла, толь ей и видели...

– Знамо дело! Потому прозывала семя мужа свово семя проклятое. – Эт» знахарь продрал глаза, а попадьица ин словцом поперхнулась: нешто под койкой сидел злодей, знахарь-то?.. А отец:

– Да пошлет ишшо, мат'шка, какие наши годки...

– Да ты кого рожна несешь, песье ты отродие? Эвон удумал что: шестой десяток ить мене, кровушка-т не бурлит ужо унудре. Д» и позабыла я, отец, памятовать плоть твою! – А знахарь:

– А ты слышь, что скажу-т, Попадья Иван'на. Ты поди завтрева в чашу, д» в глыбь что в самую. Эт» кады солнце на по-

кой покотится, тады и ступай. Д» сыми с себе одёжу, исподь самую, и ту сыми. Д» после нагишом ступай по чаще-то, д» исхлещи себе по чреслам веткими еловыми до самой до *су-*крови. «От хлестать-то хлещи, а сама так и приговаривай: чур, мол, мене расчур. – А поп с попадьей голос в голос:

– Да ты что, антихресть ты! – А сами на бородищу отцову-то намаг'вают кажно словцо знахарско. А тот:

– Да помни, завтрева бабий день особельнай... – И сейчас свалился под лавку, потому с пьяных глаз.

Так, сказ'вали, завтрева, эт» кады солнушко-т на покой покатилося, – а кто сказ'вал, так девки Гужевы и сказ'вали, Устинья с Аксиньей, а толь и сказ'вали, дядь Коля, мол, сказ'вали, сейчас отец Онуфрий-то от их ушел, от Гужевых, – в чашу, потому плоть у его, у дядь Коли, пылает, ин в паху жгётъ, – поостудить маненько надобно. «От пошел, а тёмно уж на белом свете-т сделалось, потому хошь глаз коли, эт» дядь Коле-то. «От идет себе – а тут что так^о: никак лешая! А дядь Колю-т не проведешь, потому ученый нонече: уж ^о я тебе, мол, Акулинушка, у той, мол, у сосенки... Ишь, удумал что скоромное, а сам портки сымать. И что ты думаешь, сейчас в чем мать родила – царствие ей небесное, добрая была женчина – на лешую и кинулся. А как шары-т отворил – лишенько, то ж попадьа старая, будь она неладная! Дядь Коля стыд рукой прикрыл кой-иде – д» в чашу, в глыбь самую, д» ишшо и пришепёт'вает, что баба плохая: чур, мол, мене расчур. А лешая-т самая, сказ'вают, портки-т дядь Колины,

снесла к им, к Гужевым, «от ить охальница, не гляди что попадья!»

А ноченькой темною, толь отец к Хведосье навострил бородищу свою, – цоп за рясу его и дёржит, а после на полать поволокла, что мешок пустой: куды кинешься! Так, сказ'вают – эт» баушка Рязаниха язычином трепала, повитуха ты старая, – тую ж ночь понесла попадья-т от отца Онуфрия! Но эт» кады ишшо станется – д» и станется ль, потому там помело пустое, коровье что ботало! А покуд'ва попадья дивом дивилась на робятенка Анисьиного диковинного.

«От дивуется, потому тот что с золота, толь и сучит ножонками, – д» хтой-то никак в окны стуком и стучит: нешто нейметса им, иродам, ночь ить на дворе! Анисья торкнула в бок Прохора – тот покуд'ва продрал шары спросонь, девки Гужевы – Устинья д» Аксинья – как тут, там румяненные, там пышные, что булки какие с противня: так в рот и просюются: не видали тятку, мол, эт» дядь Колю-т самого, Гужева. Сказ'вал, мол, к Аксинье с Прохором надоть зайтить, потому у их, мол, понародился робятенок диковиннай, все, мол, видали уж, я, мол, один толь и не видывал, д» запропал идейто пропадом со всем своим потрохом. А отец, Онуфрий-то, и навострил бородищу-т свою сивую: покуд'ва он, отец то ись, у Анисьи с Прохором лясы точит д» харчами брюшину набивает, дядь Коля-т самый, д» ноченьку цельную тешится с его Хведосьюшкой, д» над им ишшо и похохатывает! Потому сама сказ'вала, Хведосья-то: мол, кады дядь Коля забо-

былил – царствие небесное жана его, тетке Гужихе, – мол, спускал кобеля свово к ей, к Хведосьюшке. Там, мол, что обхаж’вал ровнешенько какую королевишну: там поил, кормил, там сережки-подковки дарил с чистого золота. И толь про подковки-т помыслил отец (потому сам, слышь, четвертый десяток с ей, с Хведосьей, полюбовничал, так плат простой ситцевый не поднес, морда его поповская, а сколь жанихов отвратил, песье ты отродие: там Захар Архипыч сам сватался, опять же Василий Силыч, первый тады красавец на селе, д» слышь ты, Семен Прохорыч, эт» отец Прохора-т Анисьиная, топерича старый хрыч, а тады лётывал что соколом, – всех отвадила: мол, никто ей не нужон, кромья Онуфрия... и пошто пушает: там бородища что помело!), – а толь и помыслил про подковки-т отец, ин мысала свело, – робятенок сейчас в крик. Анисья, знамо дело, титьку выпростала, сосец робятенку в рот сунула – отец и поуспокоился: брешет Хведосьюшка, не даривал ей подковки дядь Коля Гужев-то, потому откель у его подковки-т, у лапотника, д» и не кормил не поил, эд’кий выкормит – жди! И закал губищами, ин бородища ходуном пошла.

– Слышь, Устинья-Аксинья! – Эт» отец девкам Гужевым. – Чтой-то, мнится мне, мать ваша – упокой Господь душеньку ейну грешную – подковки в ушах нашивала с золота. Пошто не наденете память матерну?

– Да ты что, отец? Отродясь никих подков и не нашивала, потому уши у ей были девственны, то бишь без дырочки,

а нам и колечка простого не оставила, потому голы-босы – и замуж никто не берет.

А знахарь:

– А ты слышь, что скажу-т, ступай ноне в чашу, в самую что глыбь...

А Рязаниха:

– Д» ступай ты сам к едрене Фене, потому не дашь людям слово молвить, песье ты отродие! Эт» которы подковы, отец? Эт» случаем не Прасковеины? Помню, жалилась: мол, запропали подковки куды-т, баушка, не ведаешь ли? А я что, вещунья кака? Эт» знахарь пушай ведает.

– Эт» которая Прасковья? – То отец. – Брюхатая?

– Да ну ей, халду, про ей неча и сказ'вать. Я про ту Прасковью, что шерсть прядет, д» по-за околицей. – Анисья толь титьку выпростала – д» робятенку сосец мимо рта и сунула: нешто Павлуша к Хведосье хаживал? Робятенок в крик – Анисья и поуспокоилась, потому иде это видано, чтоб сосунец старицу полюбовничал.

А попадьица ин дивится:

– Эт» кого рожна ты подковкими, отец, антересуешься? Нешто счастья лытаешь на старость лет? – А отец и в бородищу не свищет! – А толь подковки те я сама Хведосье и пожал'вала: почитай, с уха сняла. – А отец завей горе веревочкой! – Потому не след отцовой-т полюбовнице в простых се-режках хаживать. – Толь молвила – сейчас робятенок в крик. Отец ин покряхтывает, а попадьа: прости, мол, Господи, бес

попутал, грешницу!

Подковки-т те Хведосье, мол, самолично сунула, дабы от-
вадить ей, мол, от тебе, отец! А сама сказала, мол, от дядь
Коли то, от Гужева, мол, присох совсем. А подковки-т те
снесла, мол, к Рязанихе, эт» чтоб пошептала на их, повитуха
ты, мол, старая, д» толку чуть. И замахнулась на баушку, а та
что мышь какой, потому барыш взяла за пошепт-то, д» ноне
от его один шиш – тады ж весь и вышел.

А девки Гужевы-т, Устинья д» Аксиныя, «от халды-то:
мол, тятка-т к Хведосье хаживал, а та его приваж'вала: там
поила что, кормила что, там постелю мастерила пуховенную.
Д» толь больно нужна она ему, шалавая, с ейной постелею,
кады у его своя есть распуховенна! А отец разошелся, что
лёгкая в горшке:

– А рожна хошь? – И кажет девкам лыч. – Язычино-т пу-
довенный, «от потому никто взамуж-т и не берет. А толь эт»
Хведосье он, дядь Коля-то, больно нужон, сама сказ'вала!
Потому работат' он мальчик, а жрать мужичок!

А попадья:

– Ты-то, гляжу, весь в прах изработался: трепать толь
и знаешь боталом! И кады ж эт» она тебе сказ'вала, уж
не на той ли постеле пуховенной?

А отец:

– Кады-кады – а тады, кады сповед'валась: мол, так и так,
отец, дядь Коля, мол, Гужев не нужон мене.

А попадья в раж вошла:

– Охальник ты, отец, вот тебе мой сказ. Обрядился в бородищу д» в рясу – и охальничаешь. И как толь земляца-т дёржит эд’кого грешника!

А отец:

– А то воля Господа, а не твое дело собачье. Как Отец наш Вседержитель постановил – так и вертится.

Робяенок сейчас в крик, потому язычино-т попридьярживай, коли Господом-т Вседержителем поставлен люд ям д» батюшкой!

А девки Гужевы, Устинья д» с Аксиньей:

– А ишло тятка сказ’вал: мол, Хведосья с им понатешит-ся – и пошла на отца нашёптывать, мол, бородища-т у его сивая, пропастинная, брюшина-т, точно куль стопудовый, набитая, а мошна-т пустым-пуста!

А отец осел, что пустой мешок, толь губищами-т и чакает. А попадья:

– Так тебе и надобно, полюбовничек! – И сейчас в сенцах ровно что по лбу как громыхнуло. Онуфрий-то язычино и поджал, потому пакостить пакостил, а кары небесной пужался пуще кого пуж’ного! «От сидит, бородищей толь и потряс’вает д» на дверь тихохонько подсматривает.

А Анисья: и кого, мол, лешего черти несут на ночь глядя – д» Прохора в темя-т и торкнула. Тот покуд’ва раззявил пасть – дядь Коля, Гужев-т, в избу и шась. Сейчас сивуху завидел, лыч свой поскрёб, потому унудре жгётъ. А девки-то Гужевы, эт» Устинья с Аксиньей, на тятку что собаки какие

цепные кидаются, никакого почтения: куды, мол, запропал со всем своим потрохом?

А тот:

– «От халды-то! Потому вас никто взамуж не берет! Не да-ете отцу чар'чку пропустить для сугреву крови-то! – И сей-час осерчал на ей, на сивуху-то, нолил себе, сколь положе-но, д» в рот и опрокид'вает. Отец Онуфрий толь и сглотнул слюну, толь и закал губищами. А дядь Коля уж которую опрокид'вает – и не закус'вает. «От рот отер, присвистнул, потому зубов кот наплакал, д» сам такую речь и ведет:

– Анисья, слышь, что ль, коль не шутишь, робятенюк, сказ'вают у тебе дикованной. Все уж видали, один я не видал. Дозволь глянуть, не то.

А Прохор:

– Анисья д» Анисья! А я нешто пришей кобыле хвост? Семя-т мое, потому золотое!

– И то, Проша, твое, чье ж ишшо... – А сама сробела, д» одним глазком, слышь, на робятенка и косурится: не удумал бы криком кричать, потому душенька-т ейна грешная!

Потому Прошка-т ишшо в жанихах хаживал, а она, Анисья-то, сошлась с одним цыганом. Ну, сошлась и сошлась, а толь там цыган-расцыган: там что красавец – глаз не от-весть! А толь эт» цыган-то увидал Анисью – моя, кричит! И что ты думаешь, тую ж ночь, как криком кричал, – а он, цыган, стоял с табором в селе-т, – и окрутился с ей, с Анисьей-то: потому у их, у цыганов, такой закон. Там любил ей

до полусмерти, сказ'вают, там зацалов'вал, там что замилов'вал. Мол, сказ'вали, с собою звал жизнь вести вольную. А Анисья: да куды ж, мол, я, Боянушка, – потому его Бояном прозывали, цыгана-т самого! – тут, мол, уродилася, тут, мол, и кость сложу. А то, сказ'вали, слезьми обливался, потому порода у их такая, у цыганов: всё б им трепаться по свету белому, нешто несть им пристанища? «От простился Боян с Анисьею, нагаечкой коня свово хлестнул по бокам, свистнул, – а зуб ин блестит женчугом, – д» толь его и видели... А Анисья-т, сказ'вают, стыд прикрыла Прохором, потому взамуж пошла ровно за стену каменну.

«От дядь Коля другой раз речь завел, потому видит: не в себе она, Анисья-то:

– Слышь, Анисья, робятенка-т кажи.

А Анисья:

– Д» на что он тебе с пьяных глаз? Дите ить малое, на кой ему твоя рожа-т сивушная?

А отец и вставил словцо д» не в свою строку:

– И в церкву не ходишь, антихресть ты, песье отродие! – Д» перстом и тычет в личность дядь Коле Гужеву.

А тот толь поплевывает, завей горе веревочкой, потому сама Хведосья сказ'вала: отец, кады зачнет с ей полюбовничать, крест с пуза сымает, прости Господи, – д» ишшо, сказ'вала, бородищей что мочалом каким трет тело белое! «От баба-т иде ядреная... А сам ин облиз'вается, потому шибко соблазная, не гляди, что старица: ишшо иному маль-

цу пондравится! Сказ'вали, Павлуша-т, Прасковейн сын, эт» которая шерстит, Прасковейя-то, – так энтот Павлуша раз стукнул к Хведосье в окны-т, кады она почивать уж удумала. «От и стукни, а она, как есть, в одной рубахе, простоволо- сая, и отвори ему окны-то, полоротому. Тот в *избу* и шась, что тать. А Хведосья: кого рожна, мол, надоть. А Павлуша, сказ'вали, шары выпучил на прелести Хведосьины, язычино заглотил и стоит что стуканом, ин не колыхнется. А Хведо- сья – ведьма чистая! – рубаху скинула и, в чем мать ей вы- родила, на Павлушу кинулась телеса-т каз'ать. Тот, сказ'вали, еле живой ноги-т унес, д» после, сказ'вали, три дни и три но- чи с полатей *на* земь не сходил, в рот маковой росины не про- сил, Прасковейя уж и отпевать у отца у Онуфрия его удума- ла, Павлушу-т, сынка родного: один ить он у ей. Д» спасибо знахарю: пошептал над им, над Павлушею, по-песьи кого-т рожна: чур, мол, д» расчур – тот сейчас с полатей и сошел, молока кринку испросил, а про Хведосью-т: эт» в окны-т к ей стукивать – и помнить запамят'вал. А толь что отцу Онуф- рию, что дядь Коле Гужеву шепчи – не шепчи – одна Хведо- сья и крендель сахарный, и вино терпкое, потому сама в ро- ток просится.

А девки Гужевы – эт» Устинья которая д» с Аксиньей – сызнава на тятку *кидаются*, приступают приступом: пошто, мол, на ночь глядя шастаешь невесть иде? Робятенка он при- шел смотреть! Знаем мы, мол, твоо робятенка!

А дядь Коля:

– Вырастил на свою-то голову! Глотку готовы тятке перегрызть! Так в девких, халды, и останетесь, потому взамуж эдких не берут!

А знахарь:

– А я, слышь, возьму!

А дядь Коля (ин руки чешутся, потому опостылели халды, никуды от их не кинешься):

– Так ить две их у мене: Устинья д» с Аксиньей! Нешто у вас, у знахарей, закон такой, что на двух девких зараз обжениваются?

А знахарь:

– На что мене две. У мене, мол, и брат имеется, потому в суседнем селе ворожит.

А дядь Коля:

– Эт» в Прыганке, что ль?

А знахарь: д» нет, мол, в Волчьей Гриве, мол.

А дядь Коля:

– Д» куды ж я ей на край свету справажу нешто? Выкормил-выпоил – эвон шаньга что пышная! – д» по-за порог выставил? Можа, вам, знахарям, эдк-то прописано, а нам, людем...

А девки Гужевы – Устинья что с Аксиньей – у тятки словцо с уст сымают, что собакевны каки: взамуж, мол, шибко хочем, хушь в хвост, хушь в гриву. А знахарь нам эт» уж больно глянется. А и то, знахарь-т хорош: там харя ин трескается, там рубаш'чка красная шелковая, там сапожки

сафьянные.

А дядь Коля мысалы-т утер: знатно сродниться-т со знахарем, потому сам черт ему брат. Д» ишшо, сказ'вали, сундук у его ин ломится от добра всяч'ского, а уж сколь деньжищ – там, сказ'вали невидимо!

А отец:

– Не стану венчать в церкви, – кричит, – антихреста! – Потому пред глазищами сундуки знахаревы!

А знахарь сам:

– Больно, мол, надобно. Мы и без тебе в Гриве окрутимся! – И сейчас по рукам с дядь Колей с Гужевым и ударили.

А дядь Коля:

– Слышь, – как тебе звать-величать, – а берешь-т которую? Две ить у мене девки, потому Устинья д» с Аксиньей.

А знахарь:

– А звать мене, мол, Як'вом Митричем, а беру я, мол, меньшую которая, потому я меньшей, мол, брат промеж нами, братовьями-знахарями.

А дядь Коля:

– А что твой брат? Каков с лица-т?

А Яков Митрич:

– А таков, мол, что мать родная нас не различит, потому волос в волос, голос в голос у ей уродилися. Имечко, и то одно...

А дядь Коля мысалы-т утер, потому с лица-т одно, а ну как в мошне пустым-пусто?... Д» куды топерича кинешься...

– Забирай, черт с тобой! Устинья, мол, подь сюды! – Потому Устинья-т меньшуха-дочь. Устинья к ему, к тятке, к дядь Коле к Гужеву, а там раскраснелась что, родимые матушки! А Рязаниха, повитуха ты старая:

– И привалило ж счастье нек'торым! А котор'му хлебать всю жизнь горе горькое! Горько! – «От крикнула, а они, Устинья-т с Як'вом Митричем, со знахарем-т, сейчам и целуются! Аксинья-т, слышь, толь и закусила губищу до сукрови, потому меньшуха-т вперед ей выскочила. А отец Онуфрий:

– Антихристы! Без венца целуются!

А дядь Коля:

– И-и, ты-т помалкавай, праведник!

И пошли пить-гулять, толь дым столбом. И отец пьет-гуляет, потому сивуха не разбирает, кто пред ей, и попадья, и Анисья с Прохором, потому робятеночек-т уторкался д» посыпохивает, и дядь Коля с девкими Гужевыми: Устиньей д» Аксиньей, и баушка Рязаниха, и знахарь сам – все гуляют, все хором пьют.

«От пьют себе, завей горе веревочкой, а толь хтой-то как в окна и стукнул тихохонько...

Ну, стукнул и стукнул, Анисья сейчас Прохора и торкнула по темени – Прохор и глянул в окно, а там темь кромешная, нешто кого и высмотришь? «От он глядел-гляддел, ин шары вылупил, покуд'ва хтой-то и не скажи по-человечьему: мол, мимо ишла, дай, мол, думаю, загляну на чуток, потому, мол, пир на весь мир стоит, а я, мол, шибко до пиров охотница.

А отец сейчас слышал речи те медовые, что по мысалам мимо уст текут, ровно кол и заглотил осиновый, ин не колыхнется. А дядь Коля Гужев что вошь кой на гребешке вертится, ин зашелся весь от тех от словес от слад'стных.

А Прохор:

– Ну, заходи, коль не шуткуешь, суседушка. – Д» какие уж тут шутки, кады отец д» дядь Коля пропадают пропадом: до пиров она охотница! Вражина ты, разлучница! Попадья толь и сплонула, а Прохор под белы под рученьки и содит Хведосью в аккурат промеж отцом Онуфрием и дядь Колей Гужевым – тех, слышь, сейчас что оглоблей оглоушило.

А Хведосья принарядилась, шалавая, точно девка на выданье: сережки те самые-т подковкими-т, д» на грудях брошка пчелкою – то ишшо Захар Архипыч пожал'вал, кады сватов засылал (а Хведосья, слышь, брошку-т взяла, а Архипычу шиш, «от баба ядреная!), на плечах шал'чка пуховенна – эт» инога жаниха приношеньице, отца-т Прошкина, Семен Прох'рыча, ныне хрыча старого, потому пьет что питушею, бесстужие его глаза (Анисья, слышь, и на порог его не пускает, сказ'вают). «От чар'чку откушала, Хведосьюшка-т, д» и сызнава патоку льет мимо отцовых уст: мимо, мол, случаем ишла, д» зайтить, мол, удумала, потому пошто не зайтить к добрым людям. И другую чар'чку откушала – а дядь Коля сейчас грибочек ей сопливенный: закуси, мол, Хведосьюшка, чем Бог, мол, послал. Потому, не ему послал-т, скареду – Прохору с Анисьею! Нахлебники чертовы! А та, Хве-

досья-т, закус'вает и не поперхнетя – а робятенюк сейчас в крик. Анисья титьку выпростала, а попадья на Хведосью что на вражину зыркнула: мимо она ишла, шалавая! Потому сейчас как отец-т с ей отполюбовничал, дядь Коля залег в постелю ишшо теплую, что в логово. Д» толь стали миндальничать, в окны стук: дядь Коля пыл и поджал, потому спужался, что то отец возвернулся, Онуфрий-т сам. Хведосья покуд'ва плат на плечь накинула, – Прасковея как тут (эт» та Прасковея, что шерсть шерстит по-за околицей, а про ту Прасковею, брюхатую, и сказ'вать неча, потому ну ей ко всем чертям, ей саму и мужа ейного: человеком ить был, а как под подол к Прасковее-т самой глянул – каким дурнем и сделался, одно д» потому на уме). А толь Прасковея-т, шерститка-то, на Хведосью с порогу и кидается: иде, мол, сынка мово укрыла родного, такая-сякая и мать твоя разэд'кая! А дядь Коля Гужев – леший его дери – возьми д» с-под дерюжки, что Хведосья-т на его накинула, ногу свою пропастинную и выпростай. А Прасковея:

– А, вот ты иде, песий сын! – И к печи кинулась д» и сорвала дерюжку тую. А дядь Коля и полёж'вает пред ей что огурчиком: весь пошел пупырушком, потому в чем мать выродила, толь стыд рукой и прикрыл. Прасковея разошлась, что лёгкая в горшке, ин заходитя: там гогочет точно кобылица неподкована. А дядь Коля штаны цоп д» в окны – и был таков. А Хведосья к Прасковее и приступает приступом: коль укажу, иде Павлуша, мол, залег, не пойдешь по селу про то,

что вид'вала, язычином трепать? А у той язычино-т ин чешется. Так Хведосья, сказ'вают, ей куль мучицы снесла, д» ишшо лытку говяжую, д» сахарцу, д» постного маслица, д» бутылъ сивухи поставила, д» слышь, суконца штуку: а там не сукно – чистый шелк. Д» ишшо и словцо прибавила: мол, Павлуша-т твой, кады луна на небо проклянется, к Анисье Прохоровой, как есть, и пожалует, мол, самолично слых'вала про ихны уговоры полюбовные. А Павлушу-т и поминай как звали у Анисьи-то, потому Павлуша нонече-т у Никитишны отлёж'вается.

Прасковья ношу-т взвалила себе не горб – а и тяжела ты, ношенька, а и жадна ты, Прасковья Михеевна! – д» делать неча, почапала по-за околицу.

А Хведосья едва и дождала, покуд'ва луна проклянула на небо. А кады проклянула – сейчас принарядилась во все баское и к Анисье с Прохором: уж больно слад'стно поглядеть, как Павлушу-то мать за космы оттаскавать кинется!

«От и третью чар'чку откушала Хведосьюшка д» закусила грибок сопливленным – и толь тады Прасковья, – а кому ишшо-т стучать: ночь на дворе – в окны-т стукнула (потому всё мучицу, слышь, пер'сыпала в анбар д» суконце к телесам приклад'вала).

Анисья Прошку в темечко торкнула – всё как у людей – тот разявил пасть, а Прасковья в избу и шась! Д» толь дядь Колю-т увидела – не до Павлуши топерича – насилу и упокоили, потому там ин зашла от хохоту-т: как живого, ви-

дит дядь Колю на печи без исподнего! Дядь Коля стыд-то прикрыл, а Хведосья сейчас ей и погрози перстом тихохонько: нешто помнить запамят'вала про уговор, морда ты суконная? А та, Прасковья-т, что шелковая какая сделалась, потому мучицу-т уж пер'сыпала, пер'лила маслице-т. «От сидит за столом, как человек: пьет-гуляет д» закус'вает: мол, мимо ишла, дай, думаю, зайду, мол, на робятенка погляжу, потому, сказ'вают, какой диковиннай, одна я толь и не вид'вала. Робяенок, дело известное, в крик, потому мимо она ишла, шерститка ты старая! Анисья сейчас за титьку хватается...

«От гуляют-пьют – всё чин-чином, всё как и положено.

И сколь уж там времечка-т пропили, один Господь и ведаёт, а толь за окными темь кромешная, словно и луна на покой склонила головушку...

«От пили они, и гуляли они: и отец Онуфрий пил, и дядь Коля Гужев пил, и попадья пила, и Анисья пила с Прохором, и знахарь пил, и девки пили Гужевы: Устинья пила д» с Аксиньей, и баушка Рязаниха пила, и Хведосья пила с Прасковеею. Один робяенок не пил, посыпохивал, потому ишшо махонький: понаелся покуд'ва д» успокоился.

И толь поуспокоился, робяенок-то, сейчас в окны стук... Анисья Прохора в темя торкнула – тот в окны-т взгляд'вается: темь одна кромешная... А Анисья точно что чуяла:

– Кого там черт принес, а, Прошенька? – спраш'вает.

А Прохор:

– Да чтой-то чернеется, а что, и не разберу.

А Анисья отворила окна-то, ровно сам нечистый ей подначивал: Боянушко... Толь и промолвила д» застыла что стукан какой...

А цыган, эт» самый Боян, полюбовничек-т Анисьин, как тут! У их, у цыганов-т, нешто нюх кой особельнай: потому как иде пьет-гуляет хто, они, цыганы, за версту учуют, сей-час и сказ'ваются.

А толь увидала Бояна свово желанного Анисья-т – сей-час что лихоманка и наскочи на ей: там, сказ'вают, кровушка в жиле взыграла, потому при живом муже, при Прохоре-т при Семеныче, к цыгану на грудь кинулась – и ну зацалов'вать, ну замилов'вать! «От халда-то, люди ить кругом! А она – завей горе веревочкой: аль забыл, мол, мене совсем, Боянушко, аль разлюбил мене совсем, Боянушко, испрашивает. А коль нет, пошто тады не кажешь лику свово, Боянушко? Так, сказ'вали, у попадьи с тех слов Анисьиных слеза с глазу сползла д» в стакан с сивухою и капнула, потому и она, попадья, женчина...

А цыган, Боян-то сам, Анисью с груди снял: на робятенка, мол, пришел поглядеть, потому семья-т, мол, мое. А Прошка в раж вошел:

– Эт» пошто твое-т, чёренное, кады мое, золотое, мол! – кричит д» на цыгана и кидается.

А Боян:

– Мое, – кричит. – Потому, сказ'вали, робятенок-то всё про всё, мол, ведает, видит наскрозь, мол, каждого!

А отец:

– «От антихристы, а? Ну чистый вертеп! – И пузо крестить кинулся.

А знахарь:

– Так пошто ж ты, святой отче, в вертепе-т сидишь? Ступай отсель на все четыре стороны!

А отец:

– И ты антихресьть! Не гляди что православного обличия! – А сам на Хведосью во все очи глядит, ин облиз'вается, д' слюну заглат'вает, потому она, Хведосья-то что удумала: сронила крошечку промеж грудей и наминает их, бесстужая, что шаньги пышные! А дядь Коля, песий ты сын, мигает глазом своим масляным: позволь, мол, подмогну, суседушка, – и тянет ручищу-т к прелестям Хведосьиным! „От ить место срамное, прости Господи! – Пойдем отсюд'ва, мат'шка, неча нам, божьим людям, тут более делати! – Неча, како же: понелся, что бык на шее-т Прох'ровой, – а тому спозорань сызнова на зар'боток, потому горбатиться!

А попадья:

– Ты ступай, отец, не задярживаю, а я туточко посижу чуток.

Отец язычино-то и прикусил до сукрови, потому куды кинешься...

А цыган одно д» потому: кажи, мол, д» кажи робятенка ему. А Прохор: рожна, мол, а не робятенка тебе, на-кося, мол, выкуси! А с тобой, мол, подлая, – эт» Анисье-то, –

опосля потолкуем с глаз на глаз. А сам на цыгана кидается, а там кулачище-то с добрый пуд д» ишшо пухом рыжим ровнешенько оброс, что щетиною, – ну чисто лапа звериная! Получишь промеж глаз – сейчас кровушкой-т и умоешься. Д» толь цыган-то – на то он и цыган: такова порода ихняя, таков закон – не будь дурак: покуд’ва Прошка кулачищем-т размахавал, от кулачища того и отворотил личность свою – так сейчас, сказ’вали, пух тот рыжий в аккурат припечатал харю знахарю, что печатью кой. Знахарь на Прохора, Прохор в раж вошел, потому и отцу досталось, и дядь Коле Гужеву... Страсть одна! А девки-т Гужевы: Устинья-т д» с Аксиньей – увидали, что у знахаря харя-то расплылась, что млин по сковороде, – сейчас на Прохора: убивец, мол! А тут дядь Коля ишшо поднач’вает: поддай, мол, ему, – потому девки-т: там что кровушка с молоком, силищу-т девать некуды! А отец Онуфрий-то, больно ты нужон кому, толь пузо и пер’крещивает д» в рясу с бородищей и ушел, как есть, потому лик свой, слышь, бережет от кулачища-т от Прошкина: завтрева-т читать пастве с клироса, «от он и морду-т и отворач’вает. А покуд’ва Прохор-т сам разошелся ровно легкая в горшке, Анисья-т что удумала, потому мать, как ни крути: робятенок-то пошто помалк’вает, нешто посыпохивает в эд’кой-т ереси? «От удумала д» сейчас к люльке и кинулась – пустым-пустёхонька люлька-т, толь и покач’вается туды-сюды...

– Скрали, ироды! – А сама то на отца на Онуфрия кидает

ется, то на попадьицу, то на знахаря, то на дядь Колю, то на девок Гужевых: Устинью д» с Аксиньей, то на баушку Рязаниху, то на Хведосью, то на Прасковею, – на Прохора, мужа родного, и то кинулась... Все как тут – одного цыгана и несть... И осела на землю, что куль пустой, толь и выдохнула...

А Рязаниха, повитуха ты старая, нет бы доброе что сказать: так тебе и надобно, г`рит, потому грозилась робятенка-т, мол, спровидить на тот свет! А отец бородищу-т с-подрясы выпростал:

– Антихристы! – кричит в крик д» перстом своим тычет куды не попадя, опосля драки-то...

А Анисья к знахарю: подмогни, мол, Яков Митрич, отец родной, робятенка сыскать, что хошь, мол, требовай. А у того одно на уме нонече, потому к девким Гужевым: Устинье д» с Аксиньей – жанихом жанихается, „от и мордуется: мало Прохор-т тебе поддал, харя ты нечистая!

А дядь Коля: а давай я, мол, подмогну, а, Анисьюшка? Взамуж за мене пойдешь тады?

А Хведосья надулась что мышь на крупу: толь приди топерича темной ноченькой...

А Анисья:

– Да ты-то сиди, толку от тебе чуть. – А сама волос на себе рвет, потому горе горькое...

А отец:

– В церкву ступай д» челом, мол, об землю и бей, покуд`ва

не простит Господь твою душеньку грешную. – Изрек, перстом ткнул – д» за порог, потому порода у их, у отцов, такова, таков закон: наставлять заблудших овец на путь на истиннай!

А попадьица поцаловала Анисью тихохонько, пер'крестила ей: не горюй, мол, сыщется робятеноч-то, потому диковиннай! – и следом за отцом. А за ей, слышь, и дядь Коля, и знахарь, и баушка Рязаниха, и девки Гужевы: Устинья д» с Аксиньей, и Хведосья, и Прасковья...

А Прохор опрокинул чар'чку, закусил чёренным хлебышком – д» на двор, лошедь взнуздывать: мол, хушь мое семя, хушь не мое, – а не возвернусь я без робятенка-то. Так и изрек, сказ'вали, д» кобылу стегнул, присвистнул – и был таков, толь его и видели.

А солнушко в те поры и проснулося: пасть свою золотую раззявило... А небо сейчас титьку свою – облак белый – и выпростало...

А цыган, Боян-т, кады робятенка скрал (а тот, слышь, и не вспикнул, и не взбрыкнул – цыган и довольнёшенек: чуёт породу-то, не гляди что дитё малое, неразумное!), – так он сейчас, Боян самый, на коня доброго, потому цыган без коня нешто цыган – одно прозвание: порода у их такова, таков закон.

«От на коня – д» и завихрился, толь рубашечка мелькнула алая каким ровно заревом. Уж он скакал-скакал, ска-

кал-скакал, покуд'ва коня в мыло и не загнал доброго, а робятенку хушь бы хны, завей горе веревочкой, знай себе, посыпохивает. А толь цыган-т промеж тем и пристал к табору ихному – и сейчас к отцу (д» не к отцу Онуфрию-т – к своёму отцу родному, потому сам он цыган, эт» Боян-т, и отец его цыган, а како же, потому порода-т одна). А цыган-отец и сказ'вает сыну-цыгану, Бояну-т самому, по-ихнаму сказ'вает, по-цыганьему, пес толь и разберет: ну что, мол, сынку, Боянушко, привез, мол, унучка-т свому дедушку, то ись ему самому, цыгану-т старому. Потому удумал помирать на тот свет (у их, у цыганов, сказ'вают, порода такова: чуют смертушку-т, кады она ишшо толь заприметила котор'ва забрать к упокойничкам), д» надоть ему хушь одним глазком поглядеть на унучка диковинного, потому слух о ём дошел и до цыганов. А Боян: а како же, мол, батюшко (у их, у цыганов, порода такова: что отец сказал, но не Онуфрий-отец, ихнай отец, – то ровно прописано, – не то что у наших у иродов, а ишшо православные: никого почтения к родителям!). А отец, цыган-то: ну кажи тады унучка-т. Боян и казал.

И что ты думаешь, пелену сняли с робятенка-то дикованного, – а там, под пеленой-т, унучка – не унук. Родимые матушки! Цыган-отец испужался, ин пузо крестить кинулся. А цыганка с ими стояла старая: не горюй, мол, отец, г'рит, гадать д» плясать на ярманках ей выучим, д» кольца в ушах золотые нашивать, д» грудями трясти в монистах, д» ишшо обряжаться в юбки пышные. У их, у цыганов, девки-т об-

рядются в кольца д» с монистами, и сейчас пошли гадать по руке д» плясать, д» орать дурным голосом, а парни-т, цыганы, почитай что все на гитаре звякают д» коней крадут – потому порода у их такова, таков закон – никуды не кинешься! А ишшо, сказ’вают, людям морочат головы омманами, потому уж что дошлый народишко, цыганы-т, д» порчь наводят православным, так сказ’вают. Д» слышь, иной православный, прости Господи, такой порчь наведет, по вси дни не отмоешься...

А толь и спраш’вает цыган-отец сына своо непутного Боянушка (эт» ж видано ль, цыган, и не выведал, кого скрал, эт» ж люди засмеют, то ись иные-т цыганы): а как ей звать-величать, девчонку-то, как ей, мол, прозывала сама мать, Анисья-то? А Боян, что баран на новы ворота, и ощерился: а и знать не знаю и ведать, мол, не ведаю, потому ни раза не слыхивал. Э-эх, горе горькое отцу-т, цыгану-т: выкормил старый на свою-т голову, науке цыганьей выучил! А цыганка: а пущай, мол, и прозывается Анисьею, потому память будет о матери. Так и порешили: обрядили Анисью махонькую в платья пестрые, прокололи уши ей д» сережками сдобрили что кольцами, а заместо гремушки, эт» чтоб дитё тешилось, бубен ей в ручонку сунули, потому у их, у цыганов, детям бубенцы больно ндравятся...

А что Прохор-то, что Семеныч-то? Пустое: не догнал Прошка цыгана-т, прощелыга ты, потому у их, у цыганов, конь-т что на крыле несет, а у Прошки худая лошадь, ляда-

щая, куды как на ей за ветром-т угонишься? «От погоревал Прохор д» делать неча – подался на заработок... «От подался д», сказ'вают, идей-то и сгинул: ни слуху, ни духу, ровно и не было на белом свете Прохора-т Семеныча...

А Анисья что: повыла чуток, поубивалася, волосья на себе подёргала, – всё как у людей, – д» сызнава и заневестилася, потому Павлуша-т, кады прознал про горяшко ейно горькое, уж больно утешил ей, сказ'вают, Анисью, вдовицу-то: понесла от его, и семи дён не минуло, как залёг Павлуша в постелю ишшо теплую Прошкину-т... Там Никитишна что запричит'вала: мол, и ты вдовая, и я, мол, вдовая, мол, отдай ты мене за ради Христа Павлушу, дружка милого, потому жизнь без его постылая, точно дерюжка чёренная. А Анисья завей горе веревочкой: и бровь не ведет, потому полюбовничает с Павлушей на все четыре стороны. Утеряла весь свой стыд – а там и стыда-т что с гулькин нос – д» сыскавать не кинулась, ровнешенько поповырастет сызнава-т.

А опосля уж, кады пузо полезло на лоб, венцом и прикрылася, спасибо, Павлуша взял, другой бы завил горе веревочкой. Отец Онуфрий, сказ'вают, сам венчает – а куды кинешься, нешто нехристь плодить! – д» сам в бородищу и сплев'вает, благо, там бородища, что помело, большущая, сивая, – потому эд'кий в храме-т срам Божиим! И сейчас окрутились Анисья-т с Павлушею – понародился робятеночек у их, д» не диковиннай – простой. Прасковья, эт» та Прасковья-т, что шерсть шерстит, мать Павлушина, а нонече свекровь Ани-

сына (про ту Прасковью-т, про брюхатую, и сказ'вать неча... а толь всё одно сказ'вают, разбрюхателась, Прасковья-т та, д» робяенок вышел – хушь с заду, хушь с лица – Митрей Митреем, эт» дядь Коли-т сын, Гужева; и что ты думаешь, сызнава понесла, а уж от котор'ва, один пес ей и ведаёт). Так Прасковья-т, сказ'вают, шерститка-т что, свекровушка Анисьи́на (другая б ноги ей, Анисье-то, до сукрови выдержнула, а эта, спасибо, приветила): слава Богу, г'рит, эт» свекровушка-т, не нужен, мол, нам диковиннай, потому от их, от диковинных, маета одна. Я «он, мол, сына поповырастила: эд'кий красавец, мол, Павлуша-то, добрый молодец, девки по ём ин сохнут с ума (а и приврала, шерститка ты старая, потому не девицы – вдовицы всё более сохли-то), а никой, мол, не диковиннай, обнакновеннай, мол. Д» покуд'ва не понародился ейный унук – эт» семя-т Павлушино, что в лоне Анисьином позацвело, там понапряла-понаплела черт-те чего для младенчика-т: там и чулки, и распашонки, и одеялки пуховенны. Тот ишшо не понародился, а уж весь в шерсти, что ягня кой, толь не блеет д» не бьет копытами. А понародился в аккурат на Онуфрия-пустынника, потому и окрестили Онуфрием. Так отец (д» не Павлуша – Онуфрий сам), сказ'вали, кады в купель-т его окунал, робятенка-то Анисьи́на, ин светился весь, ровно понаелся скоромного д» ротов не утер.

Д« толь и Акулина Онуфриевна, отцова-т дочь, окрутилась с Митреем, эт» что сын дядь Коли-т Гужева бессту-

жего, – всё, как знахарь и сказ'вал. А сам знахарь д» брат его – оба братовья-знахари – с девкими Гужевыми: Устиньей д» с Аксиньей – окрутились. Д» сказ'вают, опосля, эт» как окрутились, сейчас и девок – а тады уж, почитай, баб на сносях, потому чреватые, – делу своему знахареву: на собак брехать – выучили. Так, сказ'вают, выучили на свою-то голову, потому за версту чуяли – эт» Устинья д» с Аксиньей – всяч'скую каверзу, что братовья творить удумают, Як'вы Митричи-т: хушь криком кричи! – а как ихно хвамилие, пес толь и разберет, потому и нашёптывают по-собачьему. Потому девок-т Гужевых – Устинью д» с Аксиньей – и прозвали Митревны, а кады сумлевались, которая Митревна-т, удумали «нашу Митревну» (эт» Устинью: наш знахарь ей за себе взял, тут'шний) д» «тую Митревну» (эт» Аксинью: с пришлым знахарем окрутилась, с там'шним), а пошто сумлевались: Аксинью-т к мужу родному не пушал отец, дядь Коля Гужев сам. На кой, мол, кричит, я ей выкормил-выпоил, коли на край свету с глаз долой? Не бывать тому, покуд'ва отец живой (эт» дядь Коля-т отец, не Онуфрий: больно нужна дядь Коле Гужеву его жизнь постылая!)! «От знахарь там'шний к селу-т нашему на шею и пристал что банный лист д», сказ'вают, хату свою продал втридор'га: там жируют по вси дни, одной живой водицы несть – привалило ж счастья некот'рым!

Д« толь энто присказка, потому послал и попадьице Господь робятенка на старости! Подпоила отца-т, Онуфрия-т,

попадья самая, д» легла с им куды ни попадя. И что ты думаешь, сейчас и зачреватела! А кады робятеночк-т на белый свет торкнулся, отдала Богу душеньку попадья-т: царствие небесное, хорошая была женчина.

А отец, Онуфрий-то, – а куды кинешься? – мысалы утер д» к Хведосье своей: выходи, мол, за мене, Хведосьюшка, мол, люблю тебе, ин унудре жгётъ, д» мальчонка выходи, потому мат'шка – царствие ей небесное д» мой земной поклон! – Акульку-т нашу с тобой выкормила-выпоила. Недолго гадала-думала Хведосья-то – сейчас окрутилась с Онуфрием, бородища твоя сивая, д» села попадьею, толь и присвистнула (потому село-т у нас дальнее, Богом забытое!). Д» толь отец с пьяных глаз, Онуфрий-то, – она сейчас на лавке постелет ему, а сама дядь Колю пушает Гужева в постелю ишшо теплую супружую, бесстужая. Потому ить жизнь такова, таков закон, сказ'вают: которому что на роду и прописано.

Одна Рязаниха не у дел, повитуха ты старая...

А робятенка-т, слышь, диковинного не помянула ни одна собака словом. Анисья – уж на что мать родная! – и та помнить запамятовала, ровно его и не было. И толь, сказ'вают, спозорань, кады солнушко ишшо потяг'вается, лежебокое, д» позёв'вает сладостно, у Анисьи слезинка с глазу золотая и покотится...

«От так они и жили, сказ'вают: хлеб'шко ели, водицу пили, на тот свет помирали, детей родили, – потому жизнь своим колесом ишла: как ни крути, куды удумает, сейчас и по-

вора́чивает.

А Анисья-т махонька поповыросла: что опара прет не по дням – по часам д» с минуткими. А там что шустрая, что смушлёная: по-цыганьему-т лепетать выучилась, один пес ей и разберет. А кабы «от хушь отец Онуфрий аль дядь Коля Гужев ей послушали, ни рожна б не уразумели, потому нешто добрый человек станет на собак брехать?.. А Анисья-т махонька гребешком пригладит свои непослушные золотые кудерьки, мигнет лукавым золотым глазком своим, тряхнет юбками пестрыми д» монистыми – и пошла плясать хушь «от на ярманке, а хушь на утеху дедушку, эт» цыгану-т старому. Тот ин не нарадуется на унученьку. А что мастерица по руке угад'вать! Там толь глянет на длань – сейчас всю жизнь и сказ'вает, что по писаному!

И «от иде толь не стоят цыганы-т, сейчас к Анисье весь люд и стекается: что крещёные, что нехристи, – потому прознали про дар ейный диковиннай. А она, Анисья-т, не погляди что махонька, там и по-басурманьему брехать выучилась, и по-нашему, по-человечьему.

«От пристали раз цыганы к одному селу дальнему, что банный лист. А с ими и Боян пристал, и отец его, и Анисья, а как без ей. Парни, цыганы-т, сейчас коней красть кинулись, толь свист стоит, потому они, цыганы-т, кады коней крадут, эд'к присвист'вают на свой лад: один конь и поймет, – девки ихные юбками пошли трясти пестрыми д» монистыми

на ярманках, д“ ишшо людям жизнью по ладошке на все лады сказ’вать – всё, как и положено у ихнай породы, у цыганов. „От сказ’вают – и Анисья промеж ими сказ’вает: толь глянет на руку-т – сейчас речёт точно по-писаному: так-то и эд’к-то, мол, станется, в такую-то годину и сбудется.

А в те поры стоял на ярманке отец один – д» не один, с дочерью. Но то не отец Онуфрий, что ты: нешто святые-т отцы станут мести ярманки рясами д» трясти бородами! – то батько Прокоп: и при ём, сказ’вают, кипит укроп, и без его кипит укроп. Так тот Прокоп сало на ярманку приволок торговать, потому хохол – и дочь его хохлушка («от навязалась на его, эт» батькину-т, голову!), и жинка-покойница была хохлушкою, и унук, коли б понародился, хохлом ба был, да толь, видать, батьку-т Прокопу проще на тот свет пуститься, нежели унучка понянчить! Так они, хохлы самые, сказ’вают, одно сало кромешное и едят поедом д» галушкими закус’вают с варениками. Порода ихная такова, хохляцкая, таков закон. А ишшо, сказ’вают, гэкают на свой лад, по-хохляцкому: эт» они породу свою людям кажут эдак-то. А парни ихные всё боле штанищи большущие носят, потому, сказ’вают, ножищи у их полнущие – не сушонки какие там. А девки рушники д» венки вокруг головы с лентами д» ишшо бусички красные: а на что – а на то, чтоб парней тех блазнить, с ножищами-т которые.

И «от прибыл-стал отец, то ись батько-т Прокоп, д» ровно не в свой огород: нейдёт сало с рук, хушь криком кри-

чи, не торгуется! Д» ишшо дочерь постылая, Параска-то: там и рушник не рушник на себе напялила, там и венок не венок с лентами-разлентами, там и бусички не бусички: краснее красного – а ни один пёс не свернет помело в ейну сторону, потому там ножищи что, там ручищи что, там мордovorот... Отец, эт» батько-то, Прокоп-то, толь и крестит пузо, на ей гляючи: хушь бы тебе, чёрта толстомясого, цыган кой скрал с глаз моих!

«От пер'крестится – а сам салом торгует, д» толь куды там: ни один пёс рылом не ведёт. А тут ишшо тетка одна – шельма ты рыжая! – рядом д» мяцом приторгов'вывает: толь свист стоит. Батько к ей: так и сяк, мол, кума, нешто секрет кой зна'шь, а можа, пошепт кой али присказку, потому нейдет, мол, сало с рук, – а там сало что: белее белого, нежнее нежного – и язычином, что ровно жеребец, и прицок'вает, толь ишшо копытом не бьет. А тетка, эт» шельма-т рыжая, мясоторговка-то: а ты, мол, ступай до Анисьи-золотка (прозвали эдак-то Анисью махоньку), пущай, мол, она тебе жизнь скажет всю, как есть.

Батько-т брюхо поскреб да так и сделал, как тетка присовет'вала, шельма ты рыжая, потому куды кинешься-т? А Анисья толь глянула на того на батька, на Прокопа-т самого, сейчас всю жизнь и обсказала ему и с энтого боку-припёкку, и с энтого, что на коне вкруг обскакала, – тот толь за сердце и дёржится, ровно оно топерича галопом и выпрыгнет! И сейчас сало точно сгином каким и сгнуло, что корова

помелом смела: ни крошечки, толь его и видели – д» день-жища мошну лишь и тяжелит, эвон что, д» ноша-т больно сладкая. Д» ишшо, слышь, Параска глянулась старику к ому-то. Он батьку-то, Прокопу-то: ты не мотри, мол, г’рит, Прокоп, не ведаю, как тебе по батюшку, что я старый старик. Эт», мол, толь обличность не молодецкая – д» после ишшо эд’кое словцо скоромное сказ’вал, что не гоже добрым лю-дям его и слыхом слыхавать. А Прокоп толь и поплёв’вает, потому рад, песий ты сын, с рук сбить Параску полоротую – д» мордуется, потому чует, масть пошла: нужон, мол, ты ей со своей обличностью – ты кошель кажи. Тот и казал, старик-то, что брехал скоромное, – сейчас и обернулся добрым молодцем, потому мошна-т красит мужука пуще бородищ д» усищ чёренных. Так у Прокопа, слышь, ин шары из глазниц поповылезли, – потому у их, у хохлов, порода такова, таков ихнай лад: чуть деньжищи завидят – сейчас что шалые ка-кие и сделаются. А Параска кошель тот кожаный на ручище эд’к подкинула – «от ить, силищу-т девать некуды, ей бы де-тей малых нянчить д» эд’к подкид’вать: я, мол, г’рит, соглас-ная, обженивайся, мол, благослови, г’рит, батюшко (да не тот батюшко-т, не Онуфрий, – отцу родному наказ дала, Парас-ка-то). Батько Прокоп и пер’крестил молодых – а надулся-т что, ровно мышь какой: там толь поплёв’вает д» в усищи, слышь, посвист’вает. Како же, спровадил дурищу постылую д» ишшо и прикуп за ей взял. Потому у их, у хохлов, порода такова, таков закон: толь и свищут, иде б исхитриться, иде б

наизнань поповывернуться.

И что удумал-т Проккоп: а удумал, как бы ему – д» на старости-т – утолить свою страсть мужску последнюю, д» с одною бабою. А и что за баба така? А жила одна, вдовела в ихнем селе, Марина по прозванию, дюжа собою справная. Уж и чернобровая, уж и черноокая, уж и белоликая, и пышнотелая, а уж там груди-разгруды большущие, что «от две подушки пуховенны! Потому у их, у хохлов, порода такова, таков закон: та баба аль молодка справная, у коей грудушки пышные. Так Марина-т самая, как ейный муж преставился, д» муж-т не простой – сельский голова, не хвост кой, – так Марина та засела на полати и не кажет носу на белый свет, всё об ём убивается. А сама день ото дня толь краше д» пышнее становится, потому палец об палец не бьет: ест да пьет, да наряды на подушких-перинах мнет. Голова-т много добра для ей припас: пей-гуляй, мол, моя Маринушка! Мужуки-т, почитай что полсела, сохнут по ей, д» всё более, сказ'вали, по добру по ейному – а она сладко жрет-пьет, что опара какая прет, д» глотку дерет: и на кого ты оставил, мол, мене, сокол мой! Мужуки д» парубки в окны заглядом загляд'вают на Марину-т на пышнотелую д» толь пускают слюну, потому не выманишь ей с-под замка пудового, что на плоть свою саморучно повесила: засела что сыч и не кажет лыч. «От один деньжищами ей выманивал: мол, коль ляжешь со мною, Маринушка, осыплю тебе золотом – та ни в какую: мол, так, как ей муженек-покойничек золотил, ни-

кой не вызолотит. «От другой мужскою силою ей выманивал: мол, коль ляжешь со мною, Маринушка, осыплю тебе поцелуями-милуями сладкими – та ни в какую: мол, так, как ей муженек-покойничек миловал, никой не вымилует. «От третий ласкими ей выманивал: мол, коль ляжешь со мною, Маринушка, осыплю тебе словесами нежными – та ни в какую: мол, так, как ей муженек-покойничек славил, никой не выславит.

А Прокопу-т и выманить нечем Маринушку, потому ни деньжищ большущих, ни силушки мужской, ни словес ласковых не сыщешь, хушь сыском сыскавай. «От и удумал пожалится Анисье-золотку: так, мол, и так, Анисьюшка, пропадаю по ей пропадом, по Марине по слакомой. Изморила, мол, мене, подлая, подмогни, мол, сладить с ей, золотко, подсоби подмять под себе белотелую. А Анисья ему: д» не велико дело подмять под себе белое тело, д“ толь на кой она тебе, Марина-т самая, ты „он луньше возьми за себе свою суседушку, молодушку – и ворожить не надоть, сама пойдет. Прокоп ин дивится: и всё-т про всё ведает, и про Галину вызнала, «от ить лишенько! Так она, Галина-т самая, ноженьку приволакивает – эт» Прокоп Анисьюшке-т. А Анисья: зато душою чистая. А Прокопу хушь в лоб, хушь по лбу: хочу Марину, мол, кричит! А сам уж и мнит, как станет наминать тело ейно белое, как войдет в плоть ейну пышную! А Анисья: не стану ворожить! А Прокоп: ах, мол, так, ну гляди, поплачешь ишшо!

А Анисья уж наперед всё про всё ведаёт: и как ноченькой темною Прокоп – пустой лоб! – что тать кой подкрадется к ихному табору, как Анисью-золотко высмотрит, как посодит ей в мешок, в коем сало пер торговать, как на телегу положит той мешок, как крикнет зычным голосом: н-но, родимые! – и будет таков! Всё про всё ведала, потому весь вечер ластилась то к Боянушку, то к дедушку – старому цыгану. А после пела по-цыганьему уж такую песню душевную, что, сказ'вают, цыганы рыдали ревмя, как есть, всем табором.

И «от тряслась она в телеге, душенька бесприютная, без роду без племени, д» тихохонько плакала...

И приставал Прокоп ко селу ко большущему, и сымал мешок с телеги, и вносил в хату, и веревки на ём развяз'вал, и винился пред Анисьюшкой за все злодеяния, потому, мол, бес попутал, Анисьюшка, его воля вела. И пошли они сейчас до Марины – эт» Прокоп-т сам д» с Анисьею – а обрядились-то: Прокоп надел штанищи новехоньки, д» рубаху, что снег, белую, д» сапожки скрипучие, д» шапку, д» подвязал свое тезево поясом – всё, как и положено, у хохла у доброго; а Анисье выдал наряды Параскины (на кой ей они топерича, пуцай муж ейный обряжает ей!) – та, Анисья-т, подшила что д» подделала – и явилась что какая королевишна! Прокоп ин присвистнул: «от так краля, д» сколь же тебе годков? Да десять, отец, минуло. А сама ин невестится пред оком Прокоповым. Ох и кровь в тебе бедовая, золотко ты манящее! И пошел от греха подалее до Марины, потому мала ишшо

для любви-т Анисьюшка.

«От идут себе – а Марина сама их в окны завила, д» выходит на крыльцо, д» в хату блазит: а там такая пышная, там такая белая, что Прокоп ин язычино заглоти, до того кусная. И кто ж эт» с тобой, Прокопушко? А сама, Марина-т, в хату пускает гостей дорогих. Глянь – а она уж стол питием-яствием стол устала: и откель толь взялись галушки, д» варенички, д» со сметанкою, д» горелочка – так в рот и просются! «От сели за стол: Марина хозяйкою, Прокоп хозяином. А Анисья так себе: молчком д» бочком. «От завтрикают: Марина-т с Прокопа глаз на сводит масляных, потчует его, ровно мужа, кой возвернулся с дальнего странствия. «От потчует, а сама всё испраш'вает: и кто эт» с тобой, Прокопушка? А Анисья сидит молчком, на вареничек погляд'вает.

«От понаелись – Марина сейчас постелю стлать «д подушки взбивать пуховенны. Анисья и глаз не успела отвести от вареников – а они уж на боковую, эт» Марина-т с Прокопом, и любятя, «от бесстужие! Куды кинешья: вареник цоп – и в сенцы: жуе, потому голоднешенька. Толь заглотила – слышит: бранится Марина, что торговка с ярманки! А ну, пшёл, мол, отсель, псина шелудивый! Анисья в светелку – сызнава любятя. «От ить диво дивное! Прокоп-т любитья любитья, д» толь и кумекает промеж ласкими сладкими, д» на оселедец и намот'вает: то сама любовь с им в обличности Анисьиной к Марине пожал'вала.

А Анисья то и наперед батьки, эт» Прокопа-то, ведала, потому понаелась галушек-вареничков – д» на печи и засопела в две ноздри: пущай, мол, дурни любятя до полу смерти. А как поповыспалась – сбирала кого там кушанья, сымала плат с головушки д» в узалок те кушаньи и завязвала. Толь на Прокопа с Мариною и глянула: почивают на лаврах любви, «от ить блаженные – д» по-за порог и почапала, а куды, толь ей одной и ведомо. «От сколь там верст прошла – слышит: никак, телега громыхает Прокопова. Завидел Анисью, кричит: возвернись, мол, Анисьюшка, возвернись, милая! Кого рожна тебе надобно, испрашивай! Хошь золота? А на что ей золото-т? Сама золотко! Хошь нарядов шелковых? А на что ей наряды-то? Сама обряжена природою. Хошь кушаний лакомых? А на что ей кушанья? Сама сладкая! Потому завсегда и сытая, и одетая-обутая: с ейным даром-т особельным нешто пропадешь пропадом? А хошь, сядешь родною дочерью, эт» Анисьей, стало, Прокоповной, д» в дому Маринином? Так тебе и окрещу пред ей: мол, то дочь моя, принимай, Маринушка! Анисьюшка и польстилась на слова те Прокоповы, потому всё про всё на свете ведала, одного толь и не ведала, коего она роду-племени, коего семени. Потому ныло сердце сирое ночами длинными по отцу-матери. «От и села с им в телегу, с Прокопом-то, села дочерью, как тот и сказвал.

«От и потекли деньки масляны: Марина с Прокопом дружка на дружку не надышутся, проедают добро, что при-

пас голова-покойничек на свою-т голову, а при их завсегда Анисьюшка, потому сидит дочерью родною. Там в наряды Маринины пышные обряжена, там в красные бусички, в сапожки сафьянные. Там округлилась на галушких д» варениках, эд'кая стала кралечка. «От Марина раз и сказ'вает: пора нам, мол, Прокопушка, выдавать ей взамуж, Анисьюшку-т. А тот, эт» Прокоп: д» она ж ишшо дите малое, Маринушка, обожди годок-другой, куды как ей нонече-т выдавать – потому ведает, песий ты сын: коль отдадут Анисьюшку в люди – сейчас любовь ихняя и истончится, и так, мол, на ниточке худой дёржится. А Марина что в раж вошла: д» сколь тебе годков, доченька? Д» со счету, мол, сбилась, матушка, никак тринадцатый (а сама годок и надбавила, потому удумала уйтить от Прокопа с Мариною на вси четыре стороны – а было б пять сторон, ушла б на пять, – потому опостылела ей ихняя любовь приторна). А Марина: пора, мол, Прокопушко, ты толь глянь на ей: кровушка с молоком – д» что с молоком – там со сливками, а круглая-т, а гладкая! Да и есть у мене, мол, на примете добрый парубок, кличут Юрком, – «от и окрутим их, пушай, мол, тешатся. И сама б окрутилась с им, д» тебе одного, мол, люблю, мово желанного! – и пошла любиться с Прокопом, Хивря ты Иван'на! Прокоп и истаял, ин упрел, от поцалуев от Марининых, д» и взыграло ретивое: взревновал кралю свою грудастую к Юрку-т самому. А Анисья посиж'вает д» конхвоточку сахарну и посас'вает, д» бусичками красными и поигрывает.

А Марина отлюбилась с Прокопом д» и сказ'вает Анисье: ты ступай, мол, во садочек, доченька, – Юрко там, мол, яблоньки-молодушки высаж'вает. Д» оклики его: мол, Марина просит к себе пожал'вать Митревна. Анисья так и сделала: во садочек пошла, Юрка возля яблоньки заприметила д» и окликнула окликом, каким Марина сказ'вала. Юрко толь слышал тот голосок сладостный, что пел соловушкой, сейчас точно очнулся со сна глыбокого: дёржит яблоньку-молодушку душистую за стан ейный за тоненькай, а сам во все глаза свои карие д» с искрой на Анисью глядит на лапушку. А и Анисья залюбовалась на статного парубка, д» толь сердечка ейное на зашло в груди, потому ведаёт: хорош Юрко, д» не тот, не сужанай.

А Юрко содит яблоньку во землицу рыхлую, а у самого очи текут по личику д» стану Анисьюшкину: д» кто ты, девица, пошто тебе николи не вид'вал? А и как увидишь-то, кады Прокоп схоронил ей, дочь свою названую, в хоробах с глаз людских – и любитя с Мариною до полусмерти. Люди-т про их уж и язычином трепать намаялись, потому одно д» потому, а толку чуть. А Анисья Юрку: не про тебе я, мол, Юрко, и не облиз'вайся. А возьми ты за себе, мол, Ганку, кузнецову дочь, – счастье ковшом станешь хлебать, «от помяни мое словцо. А Юрко: ишь ты, кая шустрая, а толь не на того напала, не уйдешь от венца топерича, завтрева ж, мол, зашлю сватов – и смехается в усички, что ровнешенько травушкой-молодушкой шелком по-над верхнею над губушкой стелются.

И что ты думаешь, как сказ'вал, так и дело-т деется: поутру сваты в хату к Марине захаж'вали, д» Анисьюшу-молодку сватали, д» одаривали подарками. А Анисья своё: возьми, мол, Ганку за себе, кузнецову дочь! Юрко толь смехается, потому Марина подарки взяла: мол, бери ей, Юрко, любись на здоровье. У ей, у халды, топерва одно на уме-т: любитя по вси дни, людям спокою не дает!

А Анисья – завей горе веревочкой – посиж'вает д» крендельком сахарным и похруст'вает, потому всё про всё наперед на сто верст ведает: и как станут обряжать ей невестою, и как наденут на ей что ленты красные, что гранатовы бусички, что сапожки сафьянные, и как под венец поведут с Юрком, и как забранятся Марина с Прокопом во всю Ивановскую, и как улучит Анисья чуток времечка – и была такова, потому пустится в путь-дороженьку, и как сымет с себе одёжу пышную, и как обрядится в рубаху суконную д» юбку пестрядеву, потому ишшо надысь припасла узалок с вещью скудною в местечке заветном на перепутии, и как пустются за ей цельным свадебным поездом, и как схоронится от их, от преслед'вателей, Анисья промеж людей божиих, что бродяжат по дороженькам, испраш'вают милостынь, и как разделит с ими пищу скудную и ночлег, а как посля восвояси пустится: поминай как звали – толь ей и видели, и как Юрко обольет слезьми бусички с гранату, что в пылище с себе скинула Анисьюшка, и как посля зашлет сватов к Ганке, кузнецовой дочери, и как Прокоп с Мариною оттаскают дружка

дружку за космы (у Прокопа-т последние!), и как проспится Прокоп – пустёхонькай лоб – д» на Галине и обженится...

А покуд'ва ишла собе Анисьюшка: а степь широкая, а пашеница пышная вызрела каким золотом – ох и благодать Господняя!

«От ишла д» чтой-то и притомилась: не дёржут белые ноженьки, д» ишшо в брюхе ин звенит, что к обедне колокол. Развязала тады свой тошший узалок Анисьюшка д» вынула оттель пиць остатную от трапезы с людьми божьими. А что и вынула-т – д» краюху хлеба чёренного, д» луковку горькую, д» водицы фляжечку – «от и вся еда. «От поела краюху чёрственну пополам с лук'вицей д» со слезой соленою, потому уж больно ядреная, лук'вица-т, испила водицы с фляжечки: ту фляж'чку ей дал божий человек, Макарушка, д» ишшо и сказ'вал: мол, испьёшь той водицы, что в святых местех набрана, – сейчас в сон глыбокий и провалишься, – так и сталося: прилегла чуток во поле – сейчас и посыпохивает.

«От сколь там минуло – пробудилась Анисья со сна глыбокого, глядь – а темь кромешная уж заглонула белый свет и не поперхнулась, толь луною, что ким клыком, и оскалилась. Куда кинешься – пришлось впотьмах брести тихохонько.

Бредет Анисьюшка д» никуды не сворач'вает, потому ведает: ноги сами выведут. Д» спасибо, темь смилостивилась – луну дорожкой выстлала, эт» чтоб Анисьюшка по ей ишла. И идет она, и поет тихохонько – так темь, слышь, что за-

мерла: толь голосок летит далёко колокольчиком. Ох и славно поедает Анисьюшка, потому темь и расплакалась дождиком – «от хватку-т свою чуток и ослабила – солнушко и просунуло свою сонную головушку промеж облаков, а после нехотя покатилося по небушку, лежебокое. И легла радуга каким жерельем на грудушку небушку! Ох и благодать Господняя!

А промеж тем ишла Анисья-песельница – вывели ей ноженьки не то к селу большущему, не то к городу. И сейчас мальчонка ей навстречь кинулся: сам в кожаном хвартуке, д» ишшо пара сапог чрез плечь пер'кинута. А Анисья: эй, хлопец, мол, и куды эт», мол, мене ноженьки-т вывели? А мальчонка стуканом стоит, шарами лупает. Анисья сызнава испраш'вает: иде, эт», мол, я топерича? А он, мальчонка-т, давай брехать по-собачьему – смекнула Анисья: не разумеет малец по-нашему-т, по-человечьему-т, – куды кинешься: брехнула по-собачьему, пес ей толь и разберет. Мальчонка сейчас разобрал: я-я, кричит, а довольнёшенек! – потому у их, у немцев-то (а он немцем самым и был), порода такова, таков закон: что по-ихному, по-немецкому, сейчас «я-я» кричат, потому норов свой кажут, антихрести! А как звать, мол, величать тебе? Эт» Анисья мальчонка испраш'вает. А тот: д», мол, Якобом. А что, мол, Яша, работаешь? А подмастерьем, мол, у отца, потому первый сапожник в городе – и кажет на сапоги, что чрез плечь пер'кинуты, а там сапоги себе д» сапоги, небось не с чистого золо-

та. А эт» у их, у немцев, порода такова, таков закон: что их-ной работы – сейчас в три горла нахваливают, а православный что сробит – толь плюнут и разотрут. А что, мол, Яша, не нужна ль вам работница? Эт» Анисья мальчонку-т, потому ведает, куды ей иттить далее д» иде приклонить буйную головушку. А тот ин веретенем пошел: ишшо как нужна. Потому Яшка-т хушь и махонький, а всё немец, а у их, у немцев, порода такова: ин грудь колесом покотится, коли православный на их горбатится. А пошто нужна-т? А отец, мол, старый хрыч ужо, а мать, мол, больная слегла, который год без ног лежит, а сестра, мол, волхвитка эдкая, замуж пошла, д» свез ей муж, пес б его взял, в дальнюю сторонушку, ни слуху ни духу, мол, с тех самых пор. А Анисья: д» нешто, мол, не сыскали себе работника-т? Так они ж все жадные д» вороватые: зазеваешься – он сапоги цоп, толь его и видели, а который, мол, и деньгу прихватит и не поперхнетя. А Анисья уж всё про всё ведает: а сколь, мол, плотит твой отец работнику-т? А Яшка глаза опустил свои сивые, рыжим пухом заросшие, потому у их, у немцев, порода такова, таков закон: буде лишко из себе кой выдавит, сейчас задавится.

«От язычины-т разговоры разговаривают – а ноженьки идут к дому к сапожникову. А в дому-т что чистота стоит, родимые матушки: не чихнуть, не плюнуть, дохнуть и то пужаешься. Один дух сапожный и есть, потому сапожники. «От самый старик-т, немец-т, отец-т, но не Прокоп, не, тот Прокоп ноне крестит пузо д» лоб, потому на молодку-жану

не нарадуется, – а тот отец, который Яшкин, который сапожник-то, – а толь завидел сына-т – и за шиворот: иде, мол, тебе черти носят, песье ты, мол, отродие, – д» ишшо по-ихному, по-собачьему, и выругался: работа, мол, стоит, а ты шастаешь. Потому у их, у немцев, порода такова, таков закон: покуд’ва работу не сработаешь, и не дохни! Д» ишшо приташил с собой *кую*-то нищенку: корми тут всех, оглоеды проклятые, навязались на мою голову! У их, у немцев-т, сказ’вают, каждая крошечка подсчитана, потому хлеб-соль достается потом д» кровию! Эта лежит без ног который год, та завихрилась с полюбовником, толь ей и видели! И пошел чехвостить в хвост и гриву весь бел свет, и как толь не нашла темь на небо, эт» немец-т, отец, Клаус Иванович по прозванию, д» эт» чуток по-нашему, по-человечьи, потому по-ихному, по-собачьему, добрый человек и не выг’ворит. А Яшка стоит и не пикнет, и не бзднет, потому у его, у немца, почтение к родителю, не то что у православного: наши-т, не гляди, что православные, готовы в глотку отцу пятерней влезть, коль что не по ихному норову, аль кого рожна надобно.

«От прошерстил старый Клаус весь бел свет, прокашлялся – и уж тады толь Яшка в ноженьки ему кланялся д» и сказ’вал: мол, то не нищенка, отец, то привел, мол, работницу. А Клаус: с виду-т она неказистая, не нашего роду-племени. Потому у их, у немцев, буде девка худая, д» бледная, д» ни бровей у ей, ни ресниц не видать – тады добрая. А Ани-сья-т в тело вошла, д» ишшо бровушка чёренна по-над глаз-

ком золотым стелется! А и что она работатъ-т ведает? Эт» Клаус кряхтит. А ты спытай, мол, мене. То Анисья, д» по-ихному, по-собачьему. Как заслышал старик речь-немечь, д» из православных уст, сейчас ин посветлел лицом, ножкою тошшею шаркает. Потому у их таков закон: уж коли который брешет по-немецкому, хушь и православный, а всё человек. А сами-т станут сказ'вать по-нашему, по-человечьему, нарочно слова и куверкают, потому порода такова: всё на свой лад пер'ворач'вают.

«От решился Клаус спытать Анисьюшку: слова-т хороши – д» таковски ль дела? А у ей, за что не возьмется, всё в руках спорится. Знатная работница! Эт» Клаус-т – д» за стол сажает Анисьюшку: родимые матушки, и иде толь эд'кое видано! – и кормит-поит ей, чем Бог послал, эт» ихнай Бог, видать, немецкай, потому негусто на столе: щи простывшие д» картохи постные.

«От понаелась Анисья, поклонилась Клаусу в ноженьки д» испраш'вает: а иде, испраш'вает, мол, жана твоя болезная? Д» иде, мол, за ширмою. Анисья туды, куды старик сказ'вал. Глядь, посыпохивает старушка махонькая, с локо-ток, седенькая, тихохонько так посвист'вает, а под коечкой чуни простаивают сыромятные, уж который годок порожние. Сжалось сердце у Анисьи в комок, кады чуни те завидела, села она на постелю к старушке, д» взяла ей за руку сухоньку, д» по головушке погладила, д» по ноженькам, д» запела песню старую по-цыганьему, д» такую жалостную, что ста-

рый Клаус закричал, потому слеза приступила к глотке приступом.

А старушка очи отворила свои бесцветные.

– Да хто ты, девонька? – испраш'вает.

– Да хто – Анисья мене звать, «от, нанялась к вам в работницы.

– Спой ишшо, душенька! – Та, Анисья, и запевала, наша песельница, а кады понапелась всласть, старушка оправи-лась, волосики пригладила, обвязала плат вокруг головы по-ихному, по-немецкому. – Да что эт» я лежу-т лежебокою? – Ноженьки в чуни – и почапала к печи кашеварничать. Клаус с Яшкой толь и пер'крестились, д» не по-нашенски, по-ихному. Наш-т, православный человек, во всё пузо крестится, а у немца-т пузо махонько, грудка узенька – «от он мордочку окрестит свою остреньку – и довольнёшенек.

А понаварила, старуха, понастряпала рожна всякого: и на Клауса с лишком достанет, и на Якова. Сели пировать – а про работу и помнить запамят'вали, потому ели-пили, песни голосили. А кады ввечеру старый Клаус проведал свою кубышку заветную, с утра ишшо тошшую, заприметил: никак, округлилась кубышечка-т, точно девка зачреватела? Руку сунул ей в брюхо – а она зычно золотом и звякнула...

Скумекал тады Клаус: то не простая нищенка, то даже не знахарка, то пришло к ему само счастье в обличности Анисьином.

И «от зажили они: что сработают, какие там сапожки аль

туфлички – всё и сбывают с рук, ин свист стоит, ин кубышка звенит!

И хозяйюшка Клаусова целехонька: у печи, знай, шустрит, что молодка на выданье.

«От раз и сказ'вает Клаус Анисьюшке:

– Оставайся, мол, Аниса (потому язычино не поворач'вается по-нашему-т выг'ворить имечко православное!), не покидай ты мене на старости-т. Чую, мол, стала ты по-за

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.